

О. МАНДЕЛЬШТАМ

Солонкинский
институт

©

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

Ф. Я. Прийма (главный редактор),

И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,

А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,

Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,

Э. Б. Межелайтис, С. С. Наровчатов, В. О. Перцов,

С. А. Рустам, А. А. Сурков, Н. С. Тихонов



Большая серия

Второе издание



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

О. МАНДЕЛЬШТАМ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная статья А. Л. Дышница

Составление, подготовка текста
и примечания Н. И. Харджиева

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • 1978

О. Э. Мандельштам (1891—1938) принадлежал к старшему поколению советских поэтов, начавших свой путь еще в предреволюционные годы.

Имя Мандельштама связывается обычно с акмеизмом, однако истинные масштабы и значение его поэтического наследия выходят далеко за рамки этой литературной группировки.

Произведения, включенные в сборник, дают достаточно полное представление о сложном и противоречивом творческом пути Мандельштама. Наряду с произведениями, печатавшимися при жизни поэта, в настоящее издание включены стихотворения 1930-х годов, из которых лишь часть была опубликована за последние годы в периодической печати.

© Издательство «Советский писатель», 1973.



ПОЭЗИЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

1

Начнем с биографии поэта.

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Петербурге 15 января 1891 года в семье мелкого коммерсанта, промышленявшего обработкой и продажей кожи.

Мандельштам окончил Тенишевское училище, одну из лучших петербургских школ. Каникулы он проводил в Павловске, в Финляндии, в Прибалтике. Школа дала ему прочные знания, прежде всего — в гуманитарных науках.

Позднее, в середине двадцатых годов, в повести «Шум времени» Мандельштам рассказал о том, какими были первые жизненные впечатления его школьной поры. Уже в начале века он услышал о революционных событиях: в столице, у Казанского собора, выступили передовые студенты, поддержанные рабочими. Затем настал революционный 1905 год. «Тенишевец» Мандельштам зачитывался Герценом, о котором через два десятилетия написал в «Шуме времени», что его «политическая мысль всегда будет звучать как бетховенская соната».¹

Однако представления школьника Мандельштама о революции были весьма смутными. Он прочитал ряд социал-демократических брошюр, в их числе — Эрфуртскую программу, но не составил себе сколько-нибудь четкого представления о марксизме.

Уже в школьные годы началось у Осипа Мандельштама увлечение поэзией, музыкой, театром. Расширению и углублению его

¹ О. Мандельштам, Шум времени, Л., 1925, с. 71.

литературных интересов содействовал директор Тенишевского училища Вл. В. Гиппиус, второстепенный поэт-символист, печатавшийся под псевдонимом «Владимир Бестужев». Живя в Павловске, Мандельштам посещал музыкальные вечера в привокзальном концертном зале. В театре на него произвела сильнейшее впечатление В. Ф. Комиссаржевская.

Юношеские годы Осипа Мандельштама совпали с периодом политической реакции, свирепствовавшей в Российской империи. В ту пору, захваченный интересом к литературе, истории, философии, Мандельштам уезжает за границу, слушает лекции в Сорбонне, в Гейдельбергском университете и в совершенстве овладевает французским и немецким языками. Годы 1907—1910 он проводит на Западе, от времени до времени бывая в Петербурге, где завязываются его первые связи с литературной средой.

От любопытства к вопросам революционной теории, которое Мандельштам испытал в отрочестве, у юного поэта не остается и следа. Его занимают проблемы идеалистической философии, и в 1909—1910 годах он эпизодически посещает в Петербурге собрания Религиозно-философского общества. Он увлекается идеями и творчеством писателей-символистов и становится гостем так называемой «башни» Вячеслава Иванова, квартиры этого поэта и теоретика символизма, где регулярно собирались литераторы, главным образом разделявшие с хозяином дома его идейно-эстетические убеждения и искания.

В 1911 году Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, стремясь систематизировать свои знания. К этому времени он прочно входит в литературную среду, — у него появляются контакты с организованным Н. Гумилевым «Цехом поэтов», складываются добрые отношения с позднесимволистскими поэтами — Михаилом Кузминым, Сергеем Городецким.

Символизм как литературное течение вступил в ту пору в полосу глубокого кризиса. От него отошли некоторые из его крупнейших поэтов (прежде всех и решительнее всех — Александр Блок), на него велась атака со стороны молодой и задиристой группы писателей-футуристов, у него появилась оппозиция в собственной среде, сложившаяся в группу акмеистов. Мандельштам примкнул к последней, определился в кругу акмеистов вместе с Н. Гумилевым, А. Ахматовой, С. Городецким, В. Нарбутом, М. Зенкевичем и другими, стал сотрудником таких изданий, как «завоеванный» акмеистами «Аполлон» и акмеистический «Гиперборей», выступил в печати не только со стихами, но и со статьями на литературные темы.

В 1913 году вышла в свет первая книга стихотворений Осипа Мандельштама «Камень» (затем переизданная в 1916 и 1923 году). Этот сборник сразу поставил автора в ряды зрелых и значительных поэтов. Мандельштам в свои «ученические годы» сумел выработать строгую взыскательность к собственному творчеству и дебютировал не как ищущий неофит, а как сложившийся мастер. Уже книга «Камень» показала, что Мандельштам занял в акмеизме несколько обособленное место. Его отличие от большинства поэтов-акмеистов приобрело социальную отчетливость в годы первой мировой войны, к которой он довольно скоро выработал критическое отношение, и в особенности после Октября 1917 года.

В предоктябрьские годы у Мандельштама появляются новые знакомства. Он обменивается стихами с Мариной Цветаевой, сотрудничает с Ларисой Рейснер в журнале «Рудни», в 1915 году в Крыму встречается с Максимилианом Волошиным. Затем, летом 1917 года, снова приезжает в Крым, в Алушту. В 1918 году поэт живет то в Москве, то в Петрограде. В 1920 году он вновь в Крыму, потом в Тифлисе, куда он приехал ненадолго и куда приезжал снова и снова.

В конце 1920 года Мандельштам поселился в Петрограде, где получил комнату в Доме искусств, затем он становится жильцом Дома ученых, куда помог ему устроиться Максим Горький. Николай Чуковский, посещавший в ту пору поэта, тонко подметил характернейшую черту его образа жизни: «... в комнате, — писал он в очерке «Встречи с Мандельштамом», — не было ничего, принадлежавшего ему, кроме папирос, — ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту — безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада».¹

Из Петрограда Мандельштам перебирается в Москву, живет так же «безбытно», аскетически, и — побуждаемый к тому литературной работой, заказами на переводы — часто уезжает в Ленинград. Тот же Н. Чуковский свидетельствует: «... у него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости — он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор, пока не надоедало, и ехал в какое-нибудь другое место. Так жила он в Тбилиси, в Ереване, в Ростове, в Перми».²

¹ «Москва», 1964, № 8, с. 145.

² Там же, с. 150—151.

Двадцатые годы были для Мандельштама временем интенсивной и разнообразной литературной работы. Были созданы новые стихи, вышли новые поэтические сборники — «Tristia» (1922), объединивший стихи 1916—1920 годов, «Вторая книга» (1923), куда вошли произведения 1916—1922 годов, «Стихотворения» (1928) — книга избранной лирики за время с 1908 по 1925 год. Поэт продолжал публиковать статьи о литературе, и его выбранные критические статьи с 1910 по 1924 год составили сборник «О поэзии» (1928). Были изданы две книги прозы — упоминавшаяся выше повесть «Шум времени» (1925) и «Египетская марка» (1928).

В 1923 году Осип Мандельштам выступает в печати и как журналист, откликающийся на актуальные политические темы. Характерны в этом отношении его очерки в журнале «Огонек», написанные по личным впечатлениям. Это — «Меньшевики в Грузии» (№ 20 от 12 августа) — очерк, проникнутый злой иронией по адресу грузинских социал-предателей революции, «Первая международная крестьянская конференция» (№ 31 от 28 октября) — лирический «отчет» о встрече русских, финских, французских, польских, норвежских, немецких крестьян в Кремле, о выступлении Клары Цеткин на этой встрече, «Ньюэн-Ай-Как» (№ 39 от 28 декабря) — репортаж о беседе с «коминтернщиком», выдающимся революционером Хо Ши Мином.¹ С начала двадцатых годов поэт активно сотрудничал в газете «Московский комсомолец».

В 1925—1926 годах Осип Мандельштам испробовал свои способности и в области поэзии для детей. Были изданы с иллюстрациями книжки — «Примус» (1925), «Два трамвая» (1925), «Шары» (1926), «Кухня» (1926). Однако в этой области поэт не достиг значительных успехов, — его стихи детям нарочито упрощены и «педагогизированы», они не могли выдержать и не выдержали «соревнования» со стихотворениями таких мастеров детской поэзии, как К. Чуковский, С. Маршак, обладавших безукоризненным пониманием психологии своих маленьких читателей.

Много времени и сил отдал Мандельштам переводческой работе. Отлично владея французским, немецким, английским языками, он брался — нередко в целях заработка — за переводы прозаических произведений современных зарубежных писателей. Так были сделаны, зачастую продиктованные на пишущую машинку, переводы

¹ Как сообщает поэт Константин Симонов («Литературная Россия», 1971, № 5, 21 января), этот репортаж и поныне высоко ценится в Демократической Республике Вьетнам. Очерки «Первая международная крестьянская конференция» и «Ньюэн-Ай-Как» перепечатаны в «Дне поэзии», М., 1972, с. 241—242.

французов — Ж. Ромена «Обормоты», Ж. Дюамеля «Письма к моему другу Патагонцу», немцев — А. Даудистеля «Жертва», Ф. Геллера «Тысяча вторая ночь», американца У. Синклера «Машина» и др. С большим и любовным вниманием работал поэт над переводами из Вальтера Скотта.

С особой тщательностью и проникновенностью относился он к задачам стихотворного перевода. Как переводчик поэтов, Мандельштам проявил поистине высокое мастерство. Он решительно отказывался от весьма распространенной в то время практики «переложений», пересказов, так называемых «вольных переводов», добываясь точности в передаче характера и особенностей переводимого оригинала. Ему удалось достигнуть серьезных успехов — выразить в русских стихах грубоватую публицистическую страстность Огюста Барбье (которому он посвятил и специальную статью), философичность Франца Верфеля и Рене Шикеле, величавую эпичность Важа Пшавела, романтический характер поэзии современных грузинских лириков. В отличие от некоторых поэтов-переводчиков, Осип Мандельштам умел преодолевать «давление» собственной поэтической индивидуальности, передать своеобразие творческой личности переводимого поэта. Именно так работал Мандельштам и позднее, в 1933—1934 годах, над переводами из Петрарки.

В начале тридцатых годов Мандельштам еще печатался в журналах, в газетах. В 1933 году в журнале «Звезда» появились его очерки, посвященные армянским впечатлениям, — «Путешествие в Армению». Кроме Армении, Мандельштам посетил Тбилиси, побывал в Абхазии. Поездка по Армении, предпринятая в 1930—1931 годах, оказала на поэта глубокое воздействие. Он увлекся и армянской стариной (принялся даже изучать грабар, древнеармянский язык), и новой, революционной жизнью Армянской Советской Республики.

К 1933 году относится эссе Мандельштама о Данте. Для того чтобы написать свой «Разговор о Данте», поэт основательно изучил итальянский язык, прочитал и перечитал сочинения многочисленных интерпретаторов произведений великого флорентийца. «Разговор о Данте» долгие годы пролежал в рукописи и был издан только в 1967 году с послесловием Л. Пинского и примечаниями А. Морозова. Книга эта, глубоко оригинальная по историко-филологической концепции творчества Данте, высоко оценена специалистами-литературоведами. Вместе с тем она программна для самого Мандельштама, многое объясняет в его собственном творчестве, в его художественных исканиях и открытиях. В ней проникновенное исследование тесно переплетается с эстетическим кредо автора-поэта.

Как видим, в начале тридцатых годов Осип Мандельштам

немало работал как литератор. Однако его связи с литературно-общественной средой становились все более узкими, поэт все дальше отходил от проблем и задач, которые коллективно решались советскими писателями в то время. Широкий поворот художественной интеллигенции к деятельному участию в социалистическом строительстве — поворот, которым ознаменовались конец двадцатых и начало тридцатых годов, — почти не захватил Мандельштама. Он оставался одиночкой, «скитальцем», внезапно исчезающим с литературного горизонта и так же внезапно возникающим на нем, своего рода «блуждающим светилом».

И мало кому было ведомо, что в сознании поэта шла большая и напряженная работа, направленная на поиски верного идейного пути, — работа, так и не завершившаяся, но запечатлевшаяся в духовных исканиях, которыми отмечены некоторые его оставшиеся в рукописях стихи конца двадцатых и тридцатых годов. Характерно в этом отношении и следующее признание из письма поэта к отцу, относящегося к концу двадцатых годов: «Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с самим собой».¹

И тем не менее в конце двадцатых — начале тридцатых годов началась для Мандельштама полоса наибольших творческих трудностей. Свои стихотворения поэт очень редко сдавал в печать, — он переживал пору напряженных и драматичных идейно-художественных исканий, не умел органично войти в ряды писателей, уверенно шедших навстречу жизни. Для утверждения контакта с бурно развивавшейся новой действительностью писателю надо было полностью расстаться с пережитками индивидуалистических представлений и навыков. Осип Мандельштам это сознавал, но не всегда мог творчески перестроиться, не всегда мог расширить свой творческий кругозор.

Надо сказать, что в этом Мандельштам был не одинок, многое роднило его судьбу с судьбами поэтов, вышедших из модернистских течений дореволюционных лет, — А. Белого, А. Ахматовой, Б. Пастернака и некоторых других. Каждый из названных писателей, развиваясь по-своему, глубоко индивидуально, не сумел занять активной позиции в литературном процессе тех лет. И каждый из них по-разному искал контактов со временем. Искал их, сражаясь с трудностями своего развития, и О. Мандельштам. И обретал порою в лучших стихотворениях конца двадцатых и середины тридцатых годов, которые составили как бы лирическую «летопись» его

¹ Автограф — в собрании Е. Э. Мандельштама.

мыслей и переживаний. Стихи эти не образовали новой книги или большого журнального цикла, — да, видимо, сам автор считал их фрагментарными.

Положение Осипа Мандельштама в литературной среде становилось сложным: он все больше выбывал из рядов действующих литераторов, он убывал со страниц периодической печати. В период большого общественного подъема советской литературы, ознаменованного созданием единого Союза писателей СССР, Мандельштам остался в стороне, стал восприниматься литературной общественностью как некий «аутсайдер». Он оказался в числе немногих литераторов со сложным и противоречивым развитием, пути которых не всегда совпадали с путями народной жизни.

Сложная объективная ситуация усугублялась для Мандельштама тяжелыми субъективными факторами, — к постоянной житейской неустроенности, к скитальческому бытию прибавилось вызванное ими нервное заболевание. Позволю себе еще раз сослаться на воспоминания Н. Чуковского, привести из них следующие строки: «Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навестил его как-то летом, когда он жил в Детском Селе. Он поразил меня своей нервозностью, душевной угнетенностью». ¹ Такое состояние здоровья, такое состояние духа не содействовало включению поэта в бурно развивавшуюся жизнь.

Трудно сложились для поэта и житейские обстоятельства. После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже. Начался последний, воронежский период (1935—1937) творческой жизни поэта. Мандельштам иногда выезжал из Воронежа, появлялся в Москве, в Ленинграде и в других городах.

В 1935 году в письме к отцу Мандельштам рассказал о своем стремлении жить жизнью общественной: «Я занимаюсь литературной консультацией, веду работу с здешней молодежью. Участвую в разных совещаниях, вижу много людей и стараюсь им помочь. На днях с группой делегатов и редактором областной газеты я ездил на 12 часов в совхоз на открытие деревенского театра. Предстоит еще поездка в большой колхоз и знакомство с одним из воронежских заводов». ² Порою поэт получал заказы от местных газет, от радио, писал очерки, статьи. Здоровье Мандельштама ухудшалось, его пытались лечить, он было приободрился физически, но не надолго.

¹ «Москва», 1964, № 8, с. 151.

² Автограф — в собрании Е. Э. Мандельштама.

В своей суровой бытовой повседневности он порою падал духом, поддавался отчаянию, испытывал нервную депрессию. А между тем в творчестве, в стихах его рукописной «воронежской тетради» Осип Мандельштам проявлял истинно гражданские настроения. Обращаясь к стихам, он решительно преодолевал пессимистические эмоции, старался понять современность, шел навстречу времени. В стихах он поднимался над бытом, мыслил социальными, историческими категориями. В одной из своих записей этой поры он решительно «отталкивался» от того типа писателя, который «вменяет себе в долг во что бы то ни стало „трагически вещать о жизни“» и, не понимая, что «трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникало, неизбежно складывается в *общую картину мира*», «дает «полуфабрикат» ужаса или косности — их сырье, вызывающее у нас гадливое чувство и больше известное в благожелательной критике под ласковой кличкой „быта“». ¹

В 1937 году оборвался творческий путь Мандельштама. Поэт умер в начале 1938 года.

Жизнь Осипа Мандельштама — это путь неровный и вместе с тем заполненный трудом, творческими взлетами и творческими исканиями. И безусловным, убедительным свидетельством его желания до конца служить литературе, обращенной к читателю современности и будущего — к читателю, которого он лирически называл собеседником, — являются и его «воронежские тетради», и составленный им проект издания его стихотворений 1930—1937 годов.

2

В статьях Осипа Мандельштама о литературе, написанных в предреволюционные годы, а затем — в начале советской эпохи, явственно чувствуется школа философского идеализма, нередко дает себя знать «заквас» декадентской, символистской и акмеистической эстетики. Есть в них и заблуждения, и субъективистские оценки, и прямые противоречия. Особенно характерны последние, — они выражают борьбу в сознании поэта-критика, борьбу между идеалистически-декадентскими взглядами и прозрениями и догадками, носящими трезвый научно-верный характер.

«Заметки о Шенье» — ранняя, относящаяся к 1914 или 1915 году, статья Мандельштама, впоследствии помещенная в его книге «О поэзии». В ней находим соображение, которое можно переадресовать

¹ «Вопросы литературы», 1968, № 4, с. 205.

её автору: «Что такое поэтика Шенье? Может, у него не одна поэтика, а несколько в различные периоды или вернее минуты поэтического сознания?»¹ Иначе говоря, поэт — существо постоянно развивающееся, изменяющееся, к нему нужен исторический и диалектический подход. Именно такой подход нужен и по отношению к Мандельштаму. Не только его поэтика, но и вся идейно-эстетическая сущность его поэзии различна на разных этапах его развития.

Первый, наиболее ранний этап творческой эволюции Мандельштама связан с его «учебой» у символистов, затем — с участием в акменстическом движении. Это период «Камня» и стихотворений, сопутствующих этой книге.

На этом этапе Мандельштам выступает в ряду писателей, в большинстве своем выражавших идеологию господствующих классов тогдашней России. Однако поэта нельзя полностью отождествить с окружающей его литературной средой. Вероятно, он был почти единственным (вместе с В. Нарбутом) акменстом, который так отчетливо ощущал отсутствие органической связи с «миром державным». Впоследствии, в 1931 году, в отличном стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан...» Мандельштам поведал, что в годы юности он насильственно принуждал себя к «ассимиляции» в чужеродном литературном кругу:

И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

Характеризуя в «Египетской марке» юные годы своего героя, обильно наделенного автобиографическими чертами, Осип Мандельштам писал о его социальном самочувствии: «И страшно жить и хорошо! Он — лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофеом налегающая ночь».²

То, что позднее с такой отчетливостью осознано поэтом — его несопряженность с «миром державным», — жило в чувствах уже в начале его литературного пути. В раннем стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок...» прямо сказано об отчужденности, разобщенности, гнетущей многих людей в «равнодушной отчизне» — царской России:

Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одиноки!

¹ О. Мандельштам, О поэзии. Сборник статей, Л., 1928, с. 85.

² О. Мандельштам, Египетская марка, Л., 1928, с. 36.

Это осознание своего социального одиночества порождало у Мандельштама глубоко индивидуалистические настроения, приводило его к поискам «тихой свободы» в индивидуалистическом бытии, к иллюзорной мысли о возможности самоограничения человека от общества:

Недоволен стою и тих
Я — создатель миров моих. . .

(«Источается тонкий тлен. . .»)

Мандельштам, искренний лирик и искусный мастер, находит здесь точные слова, определяющие его состояние: да, он и недоволен, но и тих, смиренен и смирен. Его воображение рисует ему некий иллюзорный, сфантазированный мир покоя и примирения. Но реальный мир берedit его душу, ранит сердце, тревожит ум и чувства. И отсюда в его стихах столь широко разлившиеся по их строкам мотивы недовольства действительностью и собой.

В этом «отрицании жизни», в этом «самоуничижении» и «самобичевании» есть у раннего Мандельштама нечто роднящее его с ранними символистами, в особенности — с Федором Сологубом. Мандельштам и сближается с Сологубом, с характерными для него мотивами безысходной печали и усталости от жизни:

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю, —

и тут же дистанцируется от беспросветного пессимизма:

Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

(«Только детские книги читать. . .»)

В индивидуалистических мотивах своей поэзии Мандельштам также переключается с Сологубом, ему оказался близок солипсизм сологубовского мировосприятия («Я весь во всем, и нет иного. Весь мир в одних моих мечтах. . .»). Но он тут же «поправляет» себя, отстраняет эгоистический субъективизм:

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло. . .

Пускай мгновения стекает муть, —
Узора много не зачеркнуть.

*(«Дано мне тело — что мне
делать с ним. . .»)*

С ранними символистами юного Мандельштама сближает и ощущение катастрофичности современного мира, выраженное в образах бездны, пропасти, обступающей его пустоты. Однако, в отличие от символистов, Мандельштам не придает этим образам никаких двусмысленных, многосмысленных, мистических значений. Он выражает мысль, чувство, настроение в «однозначных» образах и сравнениях, в точных словах, приобретающих иной раз характер определений. Его поэтический мир — вещный, предметный, порою — «кукольный». В этом нельзя не почувствовать влияния тех требований, которые в поисках «преодоления символизма» выдвинули предакмеистские и акмеистские теоретики и поэты, — требований «прекрасной ясности» (М. Кузмин), предметности деталей, вещности образов (Н. Гумилев, С. Городецкий).

В таких строках, как:

Немного красного вина,
Немного солнечного мая, —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна, —

(«Невыразимая печаль. . .»)

Мандельштам близок к М. Кузмину, к красочности и конкретности деталей в его ранних стихах.

С акмеистами О. Мандельштама объединяла в годы 1912—1916 не только общность отношения к изобразительным и выразительным средствам поэзии. В какой-то мере он принимал и «адамизм» Н. Гумилева и С. Городецкого, поэтизацию мира первоначальных эмоций. Однако он, в отличие от Н. Гумилева, видевшего в «зверинном начале» основу современного «сверхчеловека», не идеализировал одинокое и «зверинное», писал, что «темная звериная душа» не только «хороша», но и «печальна» (стихотворение «Ни о чем не нужно говорить. . .»).

В эти годы Мандельштама воспринимали как «правоверного», ортодоксального акмеиста. Поэт в ту пору сам содействовал такому восприятию его литературной позиции и творчества, вел себя как дисциплинированный член объединения, группы. Но на самом деле он разделял далеко не все принципы, заявленные акмеистами в их декларациях. Весьма отчетливо можно увидеть и различие между ним

и таким программным поэтом акмеизма, каким был Н. Гумилев. Мандельштаму был чужд подчеркнутый аристократизм Гумилева, его антигуманистические, нищезанские идеи, холодный, бездушный рационализм ряда его произведений. Не только политически — в отношении к войне, к революции — Мандельштам разошелся с Гумилевым, но и творчески. Как известно, Гумилев, претендовавший на преодоление символизма, его философии и поэтики, капитулировал перед ним, вернулся к социальному пессимизму и мистицизму символистов. Развитие Мандельштама было иным, противоположным: мистика никогда не была ему свойственна, путь его эволюции был, в частности, и путем внутренней борьбы с пессимистическими настроениями.

В статье «Барсучья нора» (1922) Мандельштам высказал верную мысль, вполне относящуюся и к методике определения его собственной поэзии. Он написал: «Установление литературного генезиса поэта, его литературных источников, его *родства* и происхождения сразу выводит нас на твердую почву».¹ У раннего Мандельштама вполне очевидно родство с символистами, а затем — акмеистами. Но литературные традиции его поэзии и шире, и глубже, — они коренятся прежде всего в русской поэзии XIX века, у Пушкина, Батюшкова, Баратынского, Тютчева, они лежат в великих творениях мировой литературы.

Кульٹ Пушкина начинается в творчестве Мандельштама уже на страницах книги «Камень». Петербургская тема у него отмечена реминисценциями из пушкинского «Медного всадника»: тут и преклонение перед гением Петра, тут и образ пушкинского Евгения, резко противопоставленный «миру державному», образу предреволюционного буржуазно-дворянского Петербурга:

Летит в туман моторов вереница.
Самолубивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

(«Петербургские строфы»)

Тютчев также один из любимых русских поэтов Мандельштама. В одной из своих ранних статей — в статье «Утро акмеизма», написанной, по-видимому, в 1913 году, но опубликованной В. Нарбутом значительно позднее, в 1919 году, — автор «Камня» прямо указал на то, что заголовок его первой книги вызван к жизни тютчевским

¹ «О поэзии», с. 57.

воздействием. «...Камень Тютчева, что, «с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой или низвергнут мыслящей рукой», — есть слово», — написал Мандельштам.¹

Поэт, влюбленный в отечественную историю и в родной язык, Осип Мандельштам, подобно своим великим учителям, был отличным знатоком и преемником ряда лучших традиций мировой литературы. Он хорошо знал и любил античную мифологию и щедро пользовался её мотивами и образами, знал и любил поэтов античности — Гомера, Гесиода, Овидия, Катулла. Он увлекался средневековой поэзией, эпической и лирической, и в статье «Утро акмеизма» дал явно идеализированную трактовку культуры средневековья как «лабиринта ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось, как подвиг».² За эту действительно неверную, приукрашенную оценку средних веков поэта не раз упрекали, и упрекали справедливо. Но иногда при этом упускали из виду, что Мандельштам высоко чтит гуманистическую культуру Возрождения, враждебную средневековью, что в своей работе о Данте и в стихах, навеянных ренессансными темами и образами, он отошел от апологии средневековой культуры и сохранил лишь вполне обоснованное восхищение зодчеством и искусством, проникнутыми строгой соразмерностью художественных средств и архитектурных решений. Поэты Франции — притом столь разные, как Вийон, Расин, Шенье, Барбье, — не раз вдохновляли его творчески. Немецкая поэзия и немецкий литературный язык, созданный Лютером, также были для него одним из источников вдохновения. Обращение к традициям мировой художественной культуры, характерное для Мандельштама с начала его литературного пути, крепло, расширялось, углублялось с годами.

Выше уже говорилось, что, несмотря на усвоение некоторых формальных достижений символизма (живописно-импрессионистические и музыкальные особенности в поэтике многих ранних стихотворений), Мандельштам выступал как его полемический критик. Бросая вызов дряхлеющему символизму, он писал в уже упомянутой статье «Утро акмеизма»: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов»...»³ Позднее, отойдя от акмеистов, он выступал не менее определенно против индивидуалистического нарциссизма и мистических тенденций у ряда символистов. Рецензируя второй том

¹ О. Мандельштам, Утро акмеизма. — «Сирена» (Воронеж), 1919, № 4—5, 30 января, с. 70—71.

² «Сирена» (Воронеж), 1919, № 4—5, 30 января, с. 72.

³ Там же, с. 71.

«Записок чудака» Андрея Белого, он замечал не без иронии: «Танцующая проза «Записок чудака» — высшая школа литературной самовлюбленности. Рассказать о себе, вывернуть себя наизнанку, показать себя в четвертом, пятом, шестом измерении. Другие символисты были осторожнее, но в общем русский символизм так много и громко кричал о «несказанном», что это «несказанное» пошло по рукам, как бумажные деньги». ¹

Вместе с тем, полемизируя против символизма как школы, течения, Мандельштам отлично понимал, что символизм — «родовая поэзия», из которой «выломилась» некоторые крупные поэтические индивидуальности, переросшие рамки школы и расставшиеся с течением. В 1924 году в статье «Выпад» он писал: «... из широкого лона символизма вышли индивидуально-законченные поэтические явления», «род распался, и наступило царство личности, поэтической особи», «уж не было все покрыто шапкой рода, а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой». ² Такими «особями», вышедшими за пределы школы, он справедливо считал Блока, Ин. Анненского, Брюсова.

Против «размывания» символистами смысла слова в предвоенные годы протестовали не только акмеисты, но и футуристы. Мандельштам решительно отмежевывался от словотворчества, лабораторного словоновшества последних. В той же своей декларативной статье «Утро акмеизма» он заявлял, что акмеисты «с презрением отбрасывают бирюльки футуристов, для которых нет высшего наслаждения, как зацепить вязальной спицей трудное слово...». Он утверждал, что акмеисты возвращают слову его сознательный смысл, что для них «Логос такая же прекрасная форма, как музыка для символистов». Характеризуя «утро акмеизма», останавливаясь на отношении акмеистов к слову, Мандельштам во многом опирался на собственный поэтический опыт, на свои художественные искания. Он писал об архитектоничности поэтических решений, охватывающей, пронизывающей в лирическом стихотворении всё — от композиции до соотношения слов. «... Мы, — заявлял он (хотя должен бы сказать «я». — А. Д.), — вводим готику в отношения слов, подобно тому, как Себастьян Бах утвердил ее в музыке». ³

Не только в революционные годы, но и позднее Мандельштам часто воспринимался как «чистый» акмеист. Но наиболее зоркие «судьи» литературы не разделяли этой иллюзии. Весьма характерно,

¹ «Красная новь», 1923, № 5, с. 400.

² «О поэзии», с. 14.

³ «Сирена» (Воронеж), 1919, № 4—5, с. 70.

что Александр Блок в своей известной статье «Без божества, без вдохновенья», направленной против наиболее типичных акмеистов — Н. Гумилева и его эпигонов, отделил от них А. Ахматову и О. Мандельштама, мастеров драматической лирики, поэтов глубоких чувств и сильных переживаний. Действительно, к тому времени, когда А. Блок опубликовал свою нашумевшую статью против акмеистов, ко времени гражданской войны, Мандельштам был, — пользуясь его собственной терминологией, — самостоятельной поэтической особью, покинувшей узкое лоно акмеизма. Формального разрыва с Н. Гумилевым у него не было, но фактически пути их разошлись уже в годы войны, задолго до Октября, когда Гумилев занял антисоветские позиции (в 1921 году он был расстрелян как участник контрреволюционного заговора).

Начало первой мировой войны вызвало в кругах буржуазных литераторов прилив милитаристских и шовинистических настроений. Одним из лидеров барабанной поэзии явился в то время Н. Гумилев. Среди немногих поэтов, выразивших отвращение к несправедливой империалистической войне, был А. Блок. О. Мандельштам не поднялся до позиции Блока, которого «гул набата заставил заградить уста», но и не включился в ряды «мобилизовавшихся бардов». Он написал и поместил в «военном» номере «Аполлона» стихотворение «Европа», в котором ограничился констатацией того, что в войне перекраивается карта европейского континента:

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Никаких одобрительных эмоций по отношению к войне в этом стихотворении не было. Написанное в тючевских традициях, оно не содержало даже тючевского мотива: «сих высоких зрелищ зритель». Сразу вслед за тем Мандельштам написал стихотворный отклик на разрушение немцами Реймского собора — «Реймс и Кельн». В нем нетрудно было ощутить протест против милитаристского варварства.

В 1915 и 1916 годах в поэзии Осипа Мандельштама появились отчетливые антицаристские и антивоенные мотивы. Цензура не дала поэту обнародовать стихотворение 1915 года «Дворцовая площадь», в котором она с полным основанием усмотрела вызов Зимнему дворцу, царскому штандарту, двуглавному орлу, — стихотворение могло быть напечатано только после революции. В 1916 году поэт написал два антивоенных стихотворения, одно из которых появилось

в печати только в 1918 году. Это — стихотворение «Собирались эллины войною...», направленное против коварной, захватнической политики Великобритании. Другое антивоенное произведение — «Зверинец» — также вышло в свет после революции, в 1917 году. Прозвучавшее в нем требование мира, смело выдвинутое еще в январе 1916 года, выражало настроения широких народных масс, как и призыв к обузданию правительств воюющих стран.

Мандельштам, не обладавший политическим опытом и политическим темпераментом Маяковского, не сумел подняться до поэтического воплощения лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую, каким явилось стихотворение Маяковского «К ответу!», написанное в 1917 году. Несмотря на известную утопичность представлений автора о будущем (вспомним, что эти стихи писались, однако, не в 1917-м, революционном году, а в году 1916-м), в «Зверинце» четко выражалось требование — наказать и обезвредить военных преступников:

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей...

Так еще в канун революции в творчество Осипа Мандельштама вошла социальная тема, решаемая на основе общедемократических настроений. Ненависть к «миру державному», к аристократии, к военщине сочеталась в сознании поэта с ненавистью к политике, проводившейся буржуазными правительствами ряда воюющих европейских стран и отечественной буржуазией. Именно поэтому Мандельштам иронически отнесся к деятелям Временного правительства, к этим врагам мира, стоявшим за продолжение войны «до победного конца».

Восстанавливая в «Египетской марке» свои эмоциональные впечатления от периода между Февралем и Октябрем, Мандельштам писал: «Стояло лето Керенского, и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты, с бантами».¹ В этих словах нельзя не ощутить презрения к буржуазным либералам и к социал-шовинистам. Исторический опыт военных лет и периода «лимонадного правительства», воспринятый отзывчивым сердцем поэта, подготовил Мандельштама к политическому разрыву со старым миром.

¹ «Египетская марка», с. 24.

При этом возникшее у поэта отвращение к бессердечно-холодной интеллектуальной элите, к снобизму и дендизму также содействовало его отходу от акмеистической группы. Литераторы из «Цеха поэтов» стали ему духовно чуждыми. Нравственно опустошенные эстеты вызывали у него раздражение и негодование. Подобно А. Блоку, осудившему тип «русского денди», Мандельштам отвернулся от эстетствующих, от живущих без идеалов и вдохновения, от всех тех, о ком он несколькими годами позднее написал с горечью и без пощады: «Кто же они, эти люди — не глядящие прямо в глаза, потерявшие вкус и волю к жизни, тщетно пытающиеся быть *интересными*, в то время, как им самим *ничего не интересно?*»¹

В

В 1928 году Осип Мандельштам ответил на анкету, предложенную ряду литераторов редакцией газеты «Читатель и писатель». Тема анкеты была «Советский писатель и Октябрь».

«Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту... Чувствую себя должником революции...»²

Все сказанное поэтом в этих строках было сказано с полной, с предельной искренностью. Мандельштам действительно тяготился «биографией» — традициями семейной среды, которые были ему чужды, нравами буржуазного литературного окружения, с которым он был временно связан. Революция помогала рубить путы, сковывающие его духовные порывы. В отказе от ощущения личной значимости было не самоуничужение, а то духовное самочувствие, которое было свойственно ряду писателей-интеллигентов (Брюсову, Блоку, Хлебникову и некоторым другим) и выражало готовность пожертвовать личными интересами во имя интересов народных.

Такого рода настроения выразились и на страницах второй книги поэта — сборника «Tristia», в стихах, написанных в период революции и гражданской войны. С наибольшей для поэта силой пафоса прития революции сказался в гимническом стихотворении «Прославим, братья, сумерки свободы...». В смутном, тревожном, глубоко эмоциональном ощущении поэта революция предстает как

¹ О. М а н д е л ь ш т а м, Армия поэтов. — «Огонек», 1923, № 33.

² «Читатель и писатель», 1928, № 46.

пробуждение, как обновление. Он приветствует великий социальный эксперимент, дерзость и отвагу рулевых истории, стремящихся вывести ее корабль на новые просторы:

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Разумеется, у Мандельштама и в этом произведении той поры нет осознания революции как социалистической. Освобожденная земля для поэта — это почва, на которой утвердится мир, с которой схлынут глухие годы войны. Со своих абстрактно-гуманистических позиций он приветствует революцию в России как эру рождающейся свободы. При этом он, вслед за Блоком, осознает ее всемирное, вселенское значение, ее планетарный размах.

Книга «Tristia» представляет по сравнению с книгой «Камень» принципиально новый этап эстетического развития Мандельштама. Структура его стихотворений по-прежнему архитектурна, но образы его «архитектуры» лежат теперь не в средневековой готике, а в древнеримском и в эллинистическом зодчестве. Эту особенность являют и самые мотивы многих стихов, обращение к культурам античной Греции и Древнего Рима, поиски отражения эллинистических традиций в Тавриде, в Крыму.

Стихотворения, вошедшие в сборник, подчеркнута классицистичны, иные из них даже своими размерами, своей поэтической «поступью»: «Золотистого меда струя из бутылки текла...», «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Подчеркнута классицистичны многие их образы, их нарочито архаизированный, торжественный, возвышенный поэтический строй, их словарь, нередко перенасыщенный понятиями, связанными с античностью и древними мифами (форум, легионы, Геркуланум, Делия, Психея, Кассандра, Антигона, Персефона, Илион и т. д.). Обращение к классицистическим традициям постоянно подчеркивается разного рода реминисценциями — обращениями к образам поэм Гомера и других античных поэтов, к Расину, к его «Федре», которой были посвящены взволнованные и проникновенные строки еще в «Камне».

Классицистические тенденции у Мандельштама отмечались неоднократно. Но за ними нередко оставались незамеченными и другие весьма существенные, пробужденные революционной современ-

ностью романтические тенденции. В «Tristia» нередко соединялись классицистичность и романтика. Критика считала подчеркнуто классицистические стихотворения в этой книге едва ли не холодными стилизациями. Она не чувствовала их романтического пафоса, не замечала постоянного присутствия в них автора — гуманиста и романтика.

В «Камне» человек нередко представлял игрушкой рока, судьбы, казался «ненастоящим», жертвой всепоглощающей пустоты. В новой книге человек — центр вселенной, труженик, созидатель. Небольшое, восьмистрочное стихотворение с присущей Мандельштаму точностью слов-«определений» выражает гуманистические основы его миропонимания:

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

Этим преклонением перед человеком, верой в него, любовью к нему проникнуты и стихи о Петербурге, созданные в годы гражданской войны. Стихи эти трагичны: Петербург — Петроград — Петрополь казался Мандельштаму умирающим городом, гибнущим «в прекрасной нищете». Но и в этих стихах не утрачена вера в человека, бессмертного, как природа.

Любовная тема занимает небольшое место в лирике Мандельштама. Но и она в «Tristia» существенно иная, нежели в «Камне». Если в «Камне» образ любимой исполнен печали, удаленности от мира, бесплотности (стихотворение «Нежнее нежного...»), то в новой книге он земной, плотский, и самая любовь, — хотя и мучительная, трагичная, — земная, плотская (стихотворение «Я наравне с другими...»).

Романтические эмоции рождали в стихах второго сборника черты романтического стиля рядом с чертами стиля классицистического. Их нельзя не заметить даже в приведенных словах — «в прекрасной нищете», их нельзя не ощутить в мотиве борьбы человека против «черного солнца» — этого символа беды, горя, слепой, неуправляемой страсти, в образе ласточки — этого символа взлета, порыва, стремления, добра.

Как видим, Осип Мандельштам прошел определенный путь развития от «Камня»; он приветствовал новую современность, но не осознал во всей полноте ее социалистического содержания и характера, и это безусловно стало помехой к тому, чтобы открыть свои страницы новым темам и новым образам, рождаемым новой эпохой. В «Tristia» принятие нового декларативно, выражено в условно-метафорических формах, в романтических образах. Декларативны, — хотя и даны максимально конкретно, словами-«определениями», — и благородные, демократичные мысли, заключенные в стихотворении 1920 года «Актер и рабочий»:

Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков!

Что сказал художник, сказал и работник:
«Воистину, правда у нас одна!»
Единым духом жив и плотник,
И поэт, вкусивший святого вина!

Между тем революционная современность все более властно входила в жизнь страны и народа. Осип Мандельштам несомненно чувствовал, что его поэзия, искренняя и эмоциональная, нередко оказывается в стороне от современности. Все чаще и чаще размышлял он над возможностями и путями преодоления известной отчужденности его поэзии от современной жизни. Нет сомнения в том, что он серьезно задумывался и относительно перспектив своего идейного роста, но этот рост тормозился пережитками старых представлений и иллюзий, преодоление которых все еще не давалось поэту. Думал он и о языковой перестройке своей лирики, о возможностях и путях обновления языка.

Сразу после выхода книги «Tristia», в 1922 и 1923 годах появляется в периодике ряд статей Мандельштама, выходит в Харькове его брошюра «О природе слова» (1922), — и во всех этих критических работах поэт по-иному пишет о языке поэзии и в этой связи о творчестве ряда современников. Как бы отталкиваясь от своих недавних эллинистических увлечений, он пишет в «Заметках о поэзии»: «Неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада... Российскому стихотворцу не похвала, а прямая обида, если стихи его звучат как латынь... Для российской поэтической судьбы глубокие пленительные гюкковские тайны не в санскрите и не в эллинизме, а в последовательном обмирщении поэтической речи». ¹

¹ «О поэзии», с. 48—49.

Поэт рассматривает опыт своих современников в области «обра-щения» со словом. Он пишет об Андрее Белом в брошюре «О природе слова»: «беспощадная эксплуатация его (слова. — А. Д.) для своих интуитивных целей», «после мгновенного фейерверка — куча щебня». ¹ В статье «Выпад» (1924), перечисляя поэтов «не на вчера, не на сегодня, а навсегда», первым среди них называет Владимира Маяковского. ² Но в других статьях, отзываясь о Маяковском с неизменным уважением и симпатией, он оказывается неспособным понять языковое новаторство Маяковского, — требуя «обмирщения» поэтического языка, он не понимает, что путь самого современного из современных поэтов — один из самых радикальных путей этого «обмирщения». Из статьи Мандельштама «Литературная Москва» ясно видно, что он, с одной стороны, преклоняется перед подвигом писателя, создающего «поэзию для всех», а с другой стороны, боится, как бы «поэзия для всех» не уничтожила особенности поэтического языка. ³ Иллюзия этой «особости» была у Мандельштама безусловно связана с теми эстетическими традициями символизма и акмеизма, отдельные пережитки которых мешали ему широко шагнуть и занять свое место на передовых позициях поэзии революционной эпохи.

Весьма скептически отзывался Мандельштам о языкотворческих «рецептах» теоретиков имажинизма (В. Шершеневича, А. Мариенгофа и др.). «... Представители московской метафорической школы, — писал он, — ...выбивавшиеся из сил, чтобы приспособить язык к современности, остались далеко позади языка, и их судьба — быть выметенными, как бумажный сор». ⁴ Совсем по-иному оценивал он работу В. Хлебникова над языком, — в ней он видел и «обмирщение» языка, и опыт, важный для поэтов. В статьях «Литературная Москва» и «Буря и натиск» ⁵ он писал о Хлебникове с большим уважением, в брошюре «О природе слова» заметил, что он «возится со словами, как крот, он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие», ⁶ а в «Заметках о поэзии» коротко резюмировал: «Он наметил пути развития языка». ⁷ Впрочем, интерес Мандельштама к Хлебникову был не только интересом к нему как «языкотворцу», — была тут и некоторая общность идейных исканий, сказавшаяся весьма отчетливо в одном из мандельштамовских стихотворений 1923 года.

¹ «О поэзии», с. 33.

² Там же, с. 12.

³ «Россия», 1922, № 2, с. 23.

⁴ «О поэзии», с. 33.

⁵ «Русское искусство», 1923, № 1.

⁶ «О поэзии», с. 33.

⁷ Там же, с. 49.

Как уже говорилось выше, в двадцатых годах поэт работал много и разнообразно.

Он писал стихи, но только до середины десятилетия, — потом у него наступила четырехлетняя пауза в поэтическом творчестве. Он писал прозу, критические статьи, не чурался журнализма и публицистики. Много времени отдавал переводческой работе.

Стихи первой половины двадцатых годов, действительно, отмечены стремлением к «опрошению» языка, к «обмирщению» слова, — по языку, образности, жанровым особенностям и поэтическому строю они существенно отличаются от стихов его второго сборника. Обновление языка шло у Мандельштама в различных направлениях — к предельной простоте, к поистине прекрасной ясности и к неожиданным, небывалым, усложненным сравнениям и метафорическим конструкциям.

Итак, большая простота и ясность, простота простейшего повествования, песенки, романса:

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка,
Гляжу — изба, вошел в сенцы —
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка.

(«Сегодня ночью, не солгу. . .»)

С другой стороны, поэтический язык, отмеченный неожиданными находками и ассоциациями:

Звездный луч — как соль на топоре. . .

(«Умывался ночью на дворе. . .»)

Или:

И торчат, как шуки ребрами, незамерзшие катки. . .

(«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома. . .»)

Или:

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.

(«Язык булыжника мне голубя понятней. . .»)

Мандельштам — поэт с обостренным интересом к истории, к историческим параллелям, со стремлением мыслить широкими историческими обобщениями, — в эту пору напряженно думает о прошлом, о современности, о будущем, о связях прошедшего с грядущим, об отношении современности к минувшему и к исторической перспективе.

В 1922 году поэт написал статью «Девятнадцатый век», впоследствии включенную им в сборник «О поэзии». Эта статья — свидетельство непреодоленного идеалистического подхода к истории, того подхода, при котором возможно, в частности, противопоставление одного века (XVIII) другому (XIX), объявление последнего несостоятельным, игнорирование такой его исторической заслуги, как возникновение и развитие на его суровой, раздираемой классово-борьбой почве социалистического рабочего движения и теории научного коммунизма.

Между тем мышление целыми веками проникает и в поэзию Мандельштама. Тема умирающего XIX столетия, тема «разрыва» между веками XIX и XX ярко представлена в нескольких взаимосвязанных стихотворениях. В стихотворении «Нет, никогда, ничей я не был современник. . .» умирающий XIX век воспринят как столетие несбывшихся надежд, рухнувших с «первым хмелем» века — восстанием декабристов. В стихотворении «Век», вписанном поэтом в альбом литературоведу Евлалии Павловне Казанович, нельзя не ощутить тему распада связей между веком минувшим и веком нынешним, несопряженность «двух столетий позвонков». Разумеется, сама мысль о разрыве связей между веками решительно неверна, но интересно, что в будущем, девять лет спустя, вновь вернувшись к теме «века» и «позвочника», Мандельштам в незавершенном стихотворении «Какое лето! . . .» почтительно писал о позвоночнике нашего века. Он приветствовал век молодых рабочих:

Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два. . .

(«Какое лето! Молодых рабочих. . .»)

Тема будущего также возникает в сознании и творчестве Мандельштама двадцатых годов. Но и здесь он далек от научно-исторической концепции и мысль его окутана дымкой утопии. В стихотворении «Опять войны разногласица. . .» он близок и к языку, и к утопическим представлениям В. Хлебникова. Поэтические образы, поэтическая лексика этого стихотворения в сущности не столько ман-

дельштамовские, сколько хлебниковские. В этом нетрудно убедиться, сравнив некоторые из них с образами и лексикой автора «Ладомира»:

Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам...

Или:

Друг другу подавая брашна...

Или:

На круговом, на мирном судьбище...

Или:

На лбу высоком человечества...

Самый принцип словообразования («земляне», «судьбище») здесь чисто хлебниковский.

Не только поэтический язык Мандельштама, но и его мечта о будущем по сути своей сродни утопическому мечтательству Хлебникова. Грядущее выступает под пером поэта как некая идиллия слияния человека с природой, бытия, проникнутого довольством и осененного духом музыки:

Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира

(этих символов «власти немногих». — А. Д.),

А небо будущим беременно —
Пшеницей сытого эфира...

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органье поставим крылья.

В раздумьях о современности у Мандельштама-поэта выступает впервые столь отчетливо сформулированная тема острых идейных конфликтов. В стихотворении «1 января 1924» она предстает в форме сильного, драматичного конфликта. Поэт ощущает себя пленником умирающего XIX века, его «больным сыном» с твердеющим в крови «известковым слоем». Он чувствует себя потеряннным в современности, сменяющей век, вскормивший его, как своего ныне «старееющего сына»:

О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

Надо сказать, что в середине двадцатых годов Мандельштам был далеко не единственным писателем, который на путях идейных исканий испытывал этот комплекс социальной ущербности. Даже у Э. Багрицкого можно найти такой идейный «срыв», такой ущербный мотив («Над нами чужие знамена шумят»). Однако Мандельштам не хотел сдаваться «власти преданья» (как сказал бы Пушкин), подчиниться давлению прошлого. Он противопоставлял этой роковой власти, этому тяжелому давлению голос совести и верность присяге новому миру:

Мне хочется бежать от моего порога,
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

Нельзя не ощутить логического и эмоционального перехода от этих слов к теме верности новому веку, новому «позвоночнику» истории:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Социально, психологически Осип Мандельштам все еще переходник, все еще в пути, — и, хотя выбор сделан в 1917 году, вращение в современность по-настоящему не достигнуто.

Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого, —

писал поэт в стихотворении «Нашедший подкову» (1923), хорошо сознавая свое «переходничество». Именно поэтому в ответе на анкету газеты «Читатель и писатель» к приведенным выше словам: «Чувствую себя должником революции...» с горечью добавил: «...но приношу ей дары, в которых она пока что не нуждается».

Конечно, в этом самоосуждении нельзя не видеть известного эмоционального преувеличения. Современность принимала стихи,

которые «дарил» ей Мандельштам, понимая, что перед ней большой, талантливый, ищущий поэт, отличный мастер стиха. Критика внимательно и вдумчиво отнеслась к его поэтической, во многом исповедальной прозе. Но нехватка широкого общественного дыхания, недостаточная чуткость к пульсу времени сужала круг читателей его стихов.

Перед поэтом к концу двадцатых годов все острее вставал вопрос о необходимости дальнейшей творческой перестройки.

5

Обновление поэзии, действительно, нуждалось и в обновлении ее языка, в его, как выражался Мандельштам, «обмирщении». Но коренное ее обновление могло быть достигнуто лишь укреплением связей с новой жизнью, ее духовным строем, ее революционными процессами.

И Мандельштам на заре нового десятилетия, тридцатых годов, совершил чрезвычайно важное для него путешествие в Армению, которое дало в его творчестве обильный «урожай» — поэтический и прозаический. Появился цикл стихов об Армении, появилось «Путешествие в Армению». Произведения эти явились большими удачами писателя, они и по сие время читаются с любовным вниманием, переиздаются.¹

Многое взволновало поэта в Армении — ее история, ее древняя культура, ее краски и ее камни. Но больше всего обрадовали его встречи с людьми, с народом молодой советской республики. Как характерно для такого восприятия лирическое восклицание в «Путешествии в Армению»: «Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов...»² В том, что поездка в Армению имела для поэта серьезное, «живительное» значение, убеждают и следующие строки: «Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей — все это говорило мне: ты бодрствуй, не бойся своего времени, не лукавь».³

Мандельштам не лукавил никогда и ни в чем. Его поэзия все

¹ Стихотворный цикл перепечатан в 1967 году в книге «Эта Армения» (составитель Л. Мкртчян), «Путешествие в Армению» перепечатано в том же году в книге «Глазами друзей» (составитель Р. Авакян). Обе книги выпущены издательством «Айастан» (Ереван).

² «Глазами друзей», Ереван, 1967, с. 172.

³ Там же, с. 172—173.

больше, все откровеннее выражала состояние его духовного мира. И она говорила о том, что прилив бодрости, испытанный им в Армении, был именно и только приливом. Довольно скоро волна бодрых чувств пошла на спад и поэт снова погрузился в мучительные, нервные раздумья о своем отношении к современности, к новому веку.

Приезд в Ленинград в конце 1930 года, — приезд в город его детства и юности, в город революции, — вызвал у поэта очень разные стихи: и ясные, просветленные, и горькие, скорбные. Тема расчета с прошлым сильно прозвучала в уже упомянутом выше стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан...». Но еще несколькими неделями ранее Мандельштам написал стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», где трагически выражено ощущение связи с прошлым, — связи эмоциональной памяти, где не осталось места для восприятия нового, современного.

Снова возникают стихи о смене веков, — это стихотворение о разрыве с ушедшим, «волчьим» веком, о взаимоотношениях с новым веком — «веком-волкодавом», расчищающим дорогу для светлых, будущих веков. Разрыв с минувшим поэт прямо связывает со своими гуманистическими убеждениями:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Дважды подчеркивает поэт свою полную непричастность к волчьему миру, к волчьей породе.

В середине 1931 года в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» Мандельштам снова продолжает разговор с эпохой. Он снова борется с мыслью о том, что может быть не понят новым веком. Он апеллирует к верности демократическим традициям:

Чур! Не просить, не жаловаться, дщ!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал?

Он впервые с такой твердостью, с такой определенностью заявляет о себе как современнике, о своей неразрывной слитности с эпохой, с веком:

Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Продолжался идейно-эстетический рост поэта, шел наперекор трудным, скитальческим его будням, наперекор все развивавшейся болезни. Накапливались мысли, чувства, образы, выражавшие не только решимость Мандельштама дружить с веком, но и его реальную, неразрывную духовную связь с ним.

К сожалению, этот творческий рост Мандельштама не мог быть замеченным большинством его современников. Поэт печатался мало, редко, жил отъединенно от литературно-общественной среды, его литературная репутация казалась многим связанной лишь с прошлым.

Так называемые «воронежские тетради» — безусловно крупное поэтическое явление. Несмотря на незавершенность, фрагментарность некоторых стихотворений, эти тетради представляют нам высокие образцы патриотической лирики. Многие из тех благородных мыслей и чувств, которые накапливались и росли в сознании и сердце Мандельштама, получили свое поэтическое воплощение в строках «воронежских тетрадей», остававшихся долгое время, до шестидесятых годов, неизвестными советским читателям. Публикация этих тетрадей позволила точнее, по достоинству оценить поэзию Осипа Мандельштама.

В своих воронежских стихах лирик остается лириком, — в них господствуют мотивы исповедальные, мотивы самораскрытия духовного мира поэта. Но при этом значительно шире, чем прежде, предстают в них черты эпические, черты облика современности, освещенные авторским отношением.

В сознании поэта происходили существенные сдвиги, расширялся круг его жизненных интересов. В середине тридцатых годов он писал своему старику отцу из Воронежа в Ленинград: «Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, живу *социально*. . . Хочу массу вещей видеть и теоретически работать, учиться. Мы с тобой молодые, нам бы в ВУЗ поступить».¹

Насколько четче, определеннее, политически конкретнее стали лирические признания поэта:

Я должен жить, дыша и большевея. . .
(«Стансы»)

¹ Автограф — в собрании Е. Э. Мандельштама.

В нелегких житейских обстоятельствах, мучимый болезнями, поэт сохраняет силу и мужество, чтобы в тех же «Стансах» заявить:

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен,
Как «Слово о полку», струна моя туга...

Время, когда Мандельштам писал стихи «воронежских тетрадей», было временем большого подъема энергии советского народа, больших успехов в строительстве социализма в Советском Союзе, было оно и временем активизации фашистских сил на Западе. Поэт напряженно всматривался в исторические события этого времени. Он с горечью отзывался на гитлеровский террор в Германии, где палач рубил головы коммунистам:

...Я помню всё — немецких братьев шеи,
И что лиловым гребнем Лорелен
Садовник и палач (Гитлер. — А. Д.)
наполнил свой досуг.

(«Стансы»)

Он с ненавистью писал об итальянских фашистах и об их дуче. В стихотворении «Рим» есть гневные строки о фашистах в Италии, о вечном городе, который

Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

Есть в нем и строки о Муссолини, дышащие ненавистью и презрением:

Ямы Форума заново вырыты,
И раскрыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

Большой размах патриотической мысли чувствуется и в строках поэта, посвященных Советской отчизне и ее людям. Мировое значение Советской страны, ее международное влияние символизирует для поэта величественный образ Красной площади:

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз — до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

(«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»)

Со страниц «воронежских тетрадей» встает образ любимой поэтом Родины. Поразительно точно определяет Мандельштам характер своего духовного приобщения к новой жизни:

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу, — и люди хороши.

С большой любовью писал он о советских людях, лирически сопереживая красоту их дел.

Люблю шинель красноармейской складки,
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покров... —

читаем в его «Стансах».

А в другом стихотворении находим строки о духовном родстве с советскими воинами:

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

*(«Я смотрел, отдаляясь,
на хвойный восток...»)*

Не раз возникают в стихах Мандельштама строки, воспевающие крестьянский труд, радость этого труда:

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском провороте,
Ну, здравствуй, чернозем...

(«Чернозем»)

Своей поэтической мыслью, своей поэтической мечтой Мандельштам жил на широких просторах родной страны, жил делами соотечественников, свершаемыми и в Москве, и в Арктике, звучащими для него в «гудках советских городов». Поэт любовался Родиной, верил в ее великое будущее:

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чашах,
И в товарищах городах. . .

*(«Средь народного шума
и сбега. . .»)*

6

В различных суждениях о Мандельштаме нередко можно услышать, что он — типичный поэт-эрудит, замкнутый в сфере исторических и историко-культурных ассоциаций, что он — поэт-стилизатор. Между тем вряд ли можно согласиться с таким толкованием его творчества, с пониманием его как музейного, книжного, архивного.

Да, поэзия Мандельштама густо насыщена историческими и историко-культурными ассоциациями, но историзм поэта не просто ретроспективен, он обращен к истории как к кладезю мудрости, поэта интересуют уроки истории. Мысль его странствовала по векам, бродила по камням Эллады, дивилась архитектуре Древнего Рима и Средних веков, дружила с культурами Возрождения, классицизма, Просвещения. . . Совершенно особый, обостренный интерес Мандельштам питал к отечественной истории.

Русская история волновала его воображение, он искал в ней живые, неугасимые, неиссыхающие традиции. В статье «Барсучья нора» (1922) он писал об историзме Блока, его патриотическом характере: «Не удивишься историческому чутью Блока. Еще задолго до того, как он умолял слушать шум революции, Блок слушал подземную музыку русской истории там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу». ¹ Мандельштаму было сродни это обостренное внимание к историческим традициям русской культуры.

Выходец из торговой еврейской среды, Осип Мандельштам стал русским поэтом, сыном России и деятелем ее культуры. Уже в юные годы ему были свойственны те качества, которые Маркс считал

¹ «О поэзии», с. 58.

решающими для разрыва с иудаизмом, — преодоление традиций еврейства субботы (религиозных) и еврейства торговли. Традициями, питавшими его творчество, стали традиции русской культуры. К ее музыке он прислушивался напряженно и чутко. «Современная русская поэзия, — писал он в пору, когда разного рода литературно-ингилисты грубо замахивались на национальное культурное наследие, — не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны...»¹ Чувство традиции, преемственности было в высокой степени развито у Мандельштама, преклонявшегося перед «обмирщенным» русским языком, перед русской стариной, перед великой русской литературой.

Мандельштам считал русскую речь исконно демократичной, не подавлявшейся воздействием сословной государственности и церковников. В брошюре «О природе слова» (1922) он утверждал, что если некоторые западные истории и культуры «замыкают язык извне, огораживают его стенами государственности и церковности», то «русская культура и история со всех сторон омыты и опоясаны грозной и безбрежной стихией русской речи, не вмещавшейся ни в какие государственные и церковные формы».² И одной из задач преодоления символизма, выработавшего условный поэтический язык, во многом отвлеченный от жизни, он считал обращение к истокам и традициям «мирской» русской речи.

Выше уже говорилось о том, какую огромную роль для поэзии Мандельштама играло его увлечение Пушкиным, его культ поэзии Тютчева. Мысль и вдохновение поэта не раз обращались и к творчеству других поэтов России — к Державину («Грифельная ода», «Сядь, Державин, развалися...»), Батюшкову, Языкову, Веневитинову, Лермонтову, Фету и другим. Он беседовал с русскими поэтами XVIII—XIX веков не как с теньями прошлого, он разговаривал с ними в стихах и статьях как с живыми, близкими, бессмертными художниками. Это был не уход в былое, а его приближение к современности. Родной язык и родную литературу он называл почвой творчества, основой повышения языкового сознания, традицией и школой. Порывая с традициями символизма и акмеизма, он подчеркивал, что они основывались на отрыве, отходе от национальной языковой почвы. В этой связи он писал не без иронии в «Заметках о поэзии»: «Небольшой словарь еще не грех и не порочный круг. Он замыкает иногда говорящего и пламенным кругом (намек на Федора Сологуба — автора книги стихов «Пламенный круг». — А. Д.), но есть при-

¹ «О поэзии», с. 46.

² Там же, с. 31.

знак того, что говорящий не доверяет родной почве и не всюду может поставить свою ногу. Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов — словарь полнезийца». ¹

Отношение Мандельштама к истории и культуре нельзя трактовать как отношение ретроспективное, да и вряд ли можно определить его как всецело стилизаторское. У раннего Мандельштама можно найти стилизаторские тенденции и мотивы, — это было в духе той школы, к которой он в то время принадлежал. Но основное направление его «воскрешений» былого, его исторических или мифологических ассоциаций не носило стилизаторского характера.

Стилизации, как правило, холодны, книжны, для них типичны копиизм, эстетическое «реставраторство», стилистическая подделка. Они подобны так называемым тетовским бриллиантам, сходным с подлинными драгоценными камнями и все же подделанным. Мандельштам уже в ранних стихах, несмотря на ущербность некоторых эмоций, был поэтом живых и сильных чувств, заметно возраставших в его стихотворениях. Он не пользовался приемами холодной стилизации, более того, он иронизировал над ними, высмеивал «вколачиванье готовых гвоздей, именуемых «культурно-поэтическими» образами». ² И если он и прибегал к «цитации», к использованию образов и мотивов, почерпнутых из истории и литературы, то применял их не для стилизаторского инкрустирования, а как живое, звучащее и «стреляющее» явление. «Цитата, — замечал он, — не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна». ³

Так было уже в книге «Камень». В известном стихотворении «Петербургские строфы» близорукому взгляду все может показаться лишь искусно стилизованной картинкой, тогда как на самом деле в этих шести строфах «распахнута дверь» в большую тему социально-исторических контрастов и конфликтов (декабристы, пушкинский Евгений). В вариациях на Макферсоновы темы «Я не слышал рассказов Оссана...» беглый взгляд увидит лишь умелую стилизацию, тогда как на самом деле в них выражена важная (и симптоматическая для дальнейшего развития автора) тема недовольства своим литературным окружением:

Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

¹ «О поэзии», с. 48.

² Осип Мандельштам, Разговор о Данте, М., 1967, с. 6.

³ Там же, с. 11.

В стихотворении «Домби и сын» мы видим не просто «картинку по Диккенсу» (с сознательным отступлением от точности в передаче фабулы романа), а глубокое проникновение в характер диккенсовского творчества, тонкое постижение социального критицизма и сострадательного гуманизма Чарльза Диккенса.

В «Tristia» также немало стихотворений, которые порою понимаются как «только стилизация». Между тем и они не носят характера холодных воспроизведений, эффектных и изысканных копий. В стихотворении «Декабрист» все детали подобраны так, что неизменно вызывают ряд ассоциаций с историческими и литературными мотивами и образами, давно и хорошо известными из книг, из произведений поэтов XIX столетия. К примеру, пунш, горящий в стаканах, — явная «цитата» из Пушкина. Нетрудно было бы указать и на источники других образов. Но поэт не ограничивается деталями колорита эпохи, его мысль воссоздает типический образ декабриста, не побоявшегося в Европе, стонущей в тенетах Священного Союза, пойти на бой за «правду в скорбном мире», несломленного («сни дела не умирают») и являющего пример постоянства «в глухом урочище Сибири».

История у Мандельштама и в «Tristia» не носит музейного характера, в ее образах нет ничего бутафорского. Прошлое воссоздается как живое, живущее, дышащее, близкое современному человеку:

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенок.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

(«На каменных отрогах Пиэрии...»)

В стилизации, как правило, все музейно, все статично. Здесь же все живет, движется, все озарено живым лирическим чувством поэта, — не холодного «академического» эрудита, а сердечного и вдохновенного художника, поэта-лирика.

7

Осип Мандельштам всегда и во всем был и оставался лириком. О нем можно сказать словами поэта, которого он ценил — Николая Асеева, — сказать, что он лирик «по самой строчечной сути». Он и

в прозе был лириком, — проза у него лирическая, — да и в статьях он тоже был лиричен.

Как лирический поэт, он был художником повышенного нравственного чувства. К нему вполне применимо определение из его ранней статьи «Чаадаев» (1915): «Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью». ¹

Лирика по самой своей природе всегда субъективна, — это отмечал еще Белинский, отзываясь о поэзии Лермонтова. Конечно, лирика никак не сводится к так называемому самовыражению, но самовыражение художника является ее органическим свойством. В лирике Осипа Мандельштама широко и сильно представлена авторская личность. Выражены с большой чистотой мировосприятия, откровенностью, искренностью духовные искания, философские раздумия, нравственные убеждения поэта. У Мандельштама богатый и напряженный эмоциональный строй. Богатство и напряженность чувства характерны для него на всех этапах развития, — можно сказать, что со временем это богатство эмоций расширяется, их напряженность растет.

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом, —

(«Я буду метаться по табору улицы темной. . .»)

это Мандельштам 1925 года.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски! —

*(«Заблудился я в небе, —
что делать? . . .»)*

это он в 1937 году.

Широка и многозвучна гамма его эмоций. Эту полифонию чувств Мандельштам ценил у поэтов, которых считал своими учителями. О Данте он писал: «. . . Алигьери построил в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже наслаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха, и ревел, и ворковал во все трубы». ²

¹ «О поэзии», с. 72.

² «Разговор о Данте», с. 16.

Голос Мандельштама всегда звучал с той точностью воплощения мысли и переживания в слове, которая и есть важнейший признак мастерства. Не случайно именно этот поэт записал в середине тридцатых годов: «Внимание — доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность — увертки лирической лени». ¹

В одной из ранних своих статей — в статье «Заметки о Шенье» — Мандельштам писал: «Шенье искусно нашел середину между классической и романтической манерой». О Мандельштаме нельзя сказать, что он последовательно воплотил эту «золотую середину», этот сплав и синтез. Но в его поэзии мы видим обе эти манеры, мы видим его то «классиком», то романтиком, видим, как романтическое врывается в классицистическое, видим их в единстве. В той же статье о Шенье Мандельштам писал, что «...романтическая поэтика предполагает взрыв, неожиданность, ищет эффекта, непредусмотренной акустики...» ² Именно такова и у него самого романтическая манера. Стремление соединить романтические «эффекты» с «классической» логичностью мыслей жило в его искусстве. Недаром он говорил поэту Всеволоду Рождественскому: «Самое ценное в поэзии — это неожиданность. Понятия должны вспыхивать то там, то тут, как болотные огоньки. Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому, логическому уставу. Только он лежит где-то там, в глубине, и не сразу доступен». ³

В процессе своей эволюции Мандельштам расширял, интенсифицировал романтические тенденции в своей лирике. Поэтика неожиданностей, необычайностей в образе, ассоциации, метафоре, сравнении выступала все более и более в его стихах двадцатых и тридцатых годов. В «Разговоре о Данте» читаем: «...для нашего сознания... только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение». ⁴ Мандельштам искал новых неожиданных сравнений и метафор, открывающих по-новому особенности материи, черты бытия. Вот, к примеру, какие эмоционально-психологические оттенки открывал он в речи, в сочетании слов:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...

Вот как выделись ему детали московского пейзажа:

¹ «Вопросы литературы», 1968, № 4, с. 204.

² «О поэзии», с. 82.

³ Всеволод Рождественский, Страницы жизни. Из литературных воспоминаний, М.—Л., 1962, с. 129—130.

⁴ «Разговор о Данте», с. 83. Черновая запись.

.. широкая разлапица бульваров
.. спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинным.

(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»)

Вот в облике пианиста Г. Г. Нейгауза открывается ему неожиданное сравнение — офраченный, раскланивающийся, склоненный над роялем, откидывающийся и наклоняющийся, он кажется ему коньком-горбунком. И рождается строчка:

Мастер Генрих, конек-горбунк.

(«Рояль»)

Все это результаты субъективного видения, — субъективного, но не субъективистского: ведь неожиданное открытие вспыхивает внезапно, но оно проверяемо логически и чувственно, оно может быть «аргументировано».

В ряде лирических стихотворений Мандельштама ощущается тяготение к эпичности. Черты эпические у него всегда образительны, в меньшей мере — описательны. Эпичность выступает лишь в той мере, в какой она нужна лирику. Обратимся, скажем, к стихотворению «Царское Село», — перед нами то, что называлось картинкой нравов, но весь этот дагерротип в стихах нужен Мандельштаму для выражения открытой лирической иронии. Аббат в одноименном стихотворении «очерчен» не как таковой, а опять-таки для изъявления лирической иронии, на этот раз скрытой, тонко завуалированной. Поэтический эскиз на тему о Парке культуры и отдыха (стихотворение «Там, где купальни, бумагопрядильни...») для поэта не просто увиденный материал, но материал, освещенный чувством радостного приятия новой жизни. Похороны в стихотворении «Лютеранин» изображены с тонкой наблюдательностью, но вся зарисовка не была бы нужна Мандельштаму без финала стихотворения: «И думал я...»

Даже там, где в поэзии Мандельштама появляются эпические черты, он остается лириком, выражающим свое отношение к предмету, явлению, к «материи». Вместе с тем в сфере изображения, передачи материального, явлений бытия (и, следовательно, в области метафор, сравнений) он ищет неожиданного, особых ракурсов, укрупнений, «дистанцирования» не ради игры в необычайные образы и необычные ассоциации, а с тем, чтобы лучше познать и понять явление, освоить его. Читая, скажем, стихотворение «Феодосия», с его необыкновенным пейзажем и колоритом, с его неожиданными деталями, вспоминаешь замечание Мандельштама в «Разговоре

о Данте»: «Наша наука говорит: отодвинь явление — и я с ним справлюсь и освою его». ¹ В сущности, эта мысль и эта практика близки к тому, что Бертольт Брехт называл «очуждением», — удаление на дистанцию, демонстрирование с целью лучшего освоения.

Лирика Осипа Мандельштама драматична. В ней — раскрытие, обнажение авторской души, поэтический рассказ о характерной, при всем ее индивидуальном своеобразии, типической судьбе, повествование, полное подлинного драматизма, борений духа, исканий мысли, переживаний, страстей. Разговор ведется от сердца к сердцу, не громкий, но и не шепотливый. Чтобы лучше понять «обращенность» драматической лирики Мандельштама, приведу его превосходное суждение об «адресате» поэзии: «Не об акустике следует заботиться: она придет сама. Скорее о расстоянии. Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу. Но обменяться сигналами с Марсом — задача, достойная лирики, уважающей собеседника. . .» ²

Стихи Мандельштама по большей части монологичны. Даже в прозе поэт не мог, да и не хотел преодолеть этой особенности своей лирической манеры. В «Египетской марке» он признавался: «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому! Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды». ³ Но ведь и лирический монолог, как известно, содержит в себе скрытые диалоги, выражающие драматичную борьбу мыслей. Именно таковы многие монологические стихи Мандельштама.

Очень часто в монологических стихах поэта идет драматичный «разговор» с образами-аллегориями, воплощающими определенные политические, нравственные, психологические представления. Поэт борется с тяжестью, обращается к веку, сражается с пустотой. Это широкие аллегории, — в поэзии Мандельштама они выступают как живые, почти одушевленные лица. В этом смысле они сродни тем аллегориям, о которых писал Мандельштам в статье «Заметки о Шенье»: «Аллегорическая поэтика. Очень широкие аллегории, отнюдь не бесплотные. . . — для поэта и его времени почти живые лица и собеседники. Он улавливает их черты, чувствует теплое дыхание». ⁴ Эти напряженные внутренние диалоги также придают драматичность лирике поэта.

¹ «Разговор о Данте», с. 31.

² «О поэзии», с. 24.

³ «Египетская марка», с. 67.

⁴ «О поэзии», с. 83—84.

С древнейших времен литература — искусство слова — связана с другими искусствами, обогащает их, обогащается их опытом. От начала и до конца своего творческого пути Мандельштам был поэтом, естественно впитывающим достижения смежных искусств. Архитектура, живопись, музыка, театр всегда волновали его поэтическую мысль, он всегда заботился о характере строения своих стихов, о том, как «переливаются» в них свет, звук, пластика.

Мандельштам — один из поэтов, наиболее тяготеющих к «архитектурности». «В поэзии... — писал он, — все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее». ¹ Он «строил» свои стихи, заботливо обдумывая в них пропорции частей, стремясь к совершенству их композиции, к тому, чтобы во всем соблюдалась мера, не было ничего лишнего, ненужного, отяжеляющего. Очень характерны в этом отношении отброшенные им строки и строфы, приводимые в примечаниях к этой книге, — они нередко отсечены ради «архитектурной» стройности стихов. Для Мандельштама каждое стихотворение не только частица его сердца, но и самостоятельное «здание».

Еще в первой книге поэта, в «Камне», мы находим ряд стихотворений, полных преклонения перед чудесами зодчества. Мандельштам воспевает готические здания:

Здравствуй, мой давний бред, —
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!

(«Я ненавижу свет...»)

В стихотворении «Айя-София» он славит творческую щедрость и мастерство строителя, чье

...мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет.

Поэта восхищает в зодчестве его человеческое содержание, триумф разума, столь разнообразно выражающий себя в различных

¹ «Разговор о Данте», с. 12.

совершенных архитектурных решениях. Об этой «одушевленности» творений зодчества он написал в стихотворении «На площадь вы-beжав...», посвященном памяти Воронихина. Стихотворение «Notre Dame» завершается строками:

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

В 1910 году молодой Мандельштам написал статью «Франсуа Виллон», которая была напечатана через три года. В ней он писал о чувстве архитектоники у поэта: «Чем, как не чувством архитектоники, объясняется дивное равновесие строфы, в которой Виллон поручает свою душу Тронце через богоматерь... и девять небесных легионов. Это не анемичный полет на восковых крылышках бессмертия, но архитектурно обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора».¹ Сам Мандельштам также обладал этим чувством архитектоники, и большинство его стихов «построено» с безукоризненным ощущением меры и точностью композиции.

Проблема архитектурная для Мандельштама прежде всего проблема композиционная. В «Разговоре о Данте» поэт писал: «Я хочу сказать, что композиция складывается не в результате накопления частных, а вследствие того, что одна за другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее, выпархивает, отщепляется от системы...»² Поэт рассуждает здесь как строитель, как скульптор, отбрасывающий все ненужные детали, сохраняющий лишь необходимые частности, исходящий из единого, цельного, стройного замысла.

Было бы, однако, неверно считать, что все стихотворения Мандельштама отмечены строгой архитектурной соразмерностью. В большинстве своем они композиционно стройны — от стихов «Камня» и до таких, к примеру, стихов «воронежской тетради», как «Стансы». Но нельзя не заметить, что в двадцатых и тридцатых годах поэт написал немало стихотворений, в которых эмоциональность, порывистость чувств не уложилась в строгие, соразмерные архитектурные формы. Это было как бы взрывом архитектурных форм, взрывом естественным и закономерным. Эти стихи — тоже маленькие «зданья», но лишённые организованности, стройности форм.

¹ «О поэзии», с. 96.

² «Разговор о Данте», с. 11.

Л. Пинский, автор послесловия к «Разговору о Данте», справедливо заметил, что лирик Манделъштам понял, в основном, лирические тенденции в лироэпическом шедевре Данте — «Божественной комедии». Анализируя уроки Данте, русский поэт, его восторженный поклонник, иногда говорил и о собственных поэтических принципах и о собственном творческом опыте. И когда Манделъштам писал: «...Дант сопряг краску с полногласием членораздельной речи»,¹ — то писал он это как один из ярких поэтов-«красочников».

Поэзия Манделъштама полна красок, цвета и света. С первых стихов и до последних этот поэт живописен и, порою, графичен. У него часто встречаются цветовые характеристики. К примеру:

Хозяйский глаз — желтей червонца...

Или:

И продавщица восковая
Невозмутима, как луна.

(«Американ бар»)

Образы художников неоднократно возникают в его стихах. Это и «светотени мученик» Рембрандт, и Рафаэль, и Тициан. Это и импрессионисты, о которых он написал в «Путешествии в Армению» и в специальном стихотворении.

Нередко образы Манделъштама графичны, — у них четкий «словесный рисунок», передающий не живописные мазки, а линии:

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко...

Так в поэзии соединяются переживание, слово, графика.

Манделъштам дорожил линией и цветом, дорожил светом, который по-новому открыли для живописи импрессионисты. Он считал в высшей степени важной для поэзии «световую импрессионистскую подготовку». ² Он не случайно так часто пользовался эпитетом «прозрачный», — весна у него прозрачная, Петрополь — прозрачный...

¹ «Разговор о Данте», с. 51.

² Там же, с. 31.

Поэзия Мандельштама говорит и о его чутком, музыкальном слухе, о его любви к музыке. Он написал стихи о великих музыкантах — о Бахе, Бетховене, Шуберте... Он хотел, чтобы в его стихах жил дух музыки, чтобы то была не навязчивая ассонансная «музыкальность» стихов Бальмонта, не предпочтение музыки логике, а гармония мысли, переживания и музыки в стихах.

«Если б мы научились слышать Данта, — утверждал Мандельштам, — мы бы слышали созревание кларнета и тромбона, мы бы слышали превращение виолы в скрипку и удлинение вентиля валторны». ¹ Поэт знал, что народу дорого звучание слова, музыка поэзии:

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льянюкудрою, каштановой волной —
Его звучаньем — умывался...

(«Я нынче в паутине световой...»)

Мандельштам любил, знал, чувствовал театр, искусство сцены. Об этом говорят его стихи о расиновой «Федре», о театральном разъезде после представления «Валькирии» Вагнера, об Анджиолине Бозио (о которой он писал и в «Египетской марке»), чей образ — «живая ласточка» — запечатлелся в стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена...». Многие стихи поэта «театральны», в них — пластика движущихся образов, как бы поднятых на подмости. Иногда это только пантомимические этюды:

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...

Иногда же не только зримый, но и почти слышимый трагедийный эпизод:

Вполоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:

¹ «Разговор о Данте», с. 12.

Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

Мандельштам не понял и не принял нового искусства — кино. В «Разговоре о Данте» киноискусству посвящено несколько горьких и несправедливых слов: «Между тем современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга».¹

Однако смена кадров в киноискусстве отнюдь не носит механического характера, происходит не без диалектической связи, не без «борьбы». Вероятно, если бы Мандельштам написал о кино без предвзятости, он мог бы заметить, что смена образов и подтем («кадров») в его лирике порою кинематографически монтажна, что ему самому было нередко свойственно мышление кадрами. Вот лишь один (один из многих) пример, который, думается, подтверждает это соображение:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай...

Поэзия О. Мандельштама отмечена постоянным стремлением к синтетичности, к единству автора, «материи», архитектурности, света и цвета, музыки, театральности.

9

В то время, когда творил Мандельштам (в особенности в десятих и двадцатых годах), и в той среде, которая его окружала, были широко распространены эстетские, формалистические взгляды на искусство, на литературу.

Многие акмеисты стояли на формалистических позициях. Многие футуристы были формалистами. Шумел ОПОЯЗ, стараясь утвердить в литературе примат формы над содержанием.

Мандельштам никогда не склонялся к формализму. И к началу тридцатых годов он обобщил свой взгляд на проблему формы

¹ «Разговор о Данте», с. 6.

в недвусмысленном и превосходном определении. В «Разговоре о Данте» он написал, что форма — не оболочка, а выжимка, «форма выжимается из содержания-концепции». ¹

В поисках формы, органически «выжимающейся» из содержания, Мандельштам, существенно обогативший поэтическую ритмику (стихovedы особо отмечают его вклад в разработку дольников), много работал и над словом. Эту работу он справедливо считал частью своего идейного роста, связывал со своим духовным развитием. До конца творческого пути он был одержим стремлением к обогащению поэтической речи. В 1935 году в «Стансах» поэт заявлял:

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.

Я уже замечал, что у Мандельштама рядом со словами недвусмысленно определительными живут слова многозначные. Но и эти слова употребляются в определенном значении, они не несут с собой «размытого», «смятого» смысла, той неясности и смутности, которую Мандельштам не принимал у символистов. «Любое слово является пучком, — писал он в «Разговоре о Данте», — и смысл торчит из него в разные стороны». ² «Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень», — утверждал он в «Заметках о поэзии». ³ Поэт знал, что слово не просто знак понятия, что оно полисеманлично, динамично, вступает в различные сочетания с другими словами и таким образом открывает новые смыслы. «Пучкообразность», «многосмысленность» слова интересовала Мандельштама не затем, чтобы на символистский или сюрреалистский манер увести от ясности мысли, а ради расширения функциональных возможностей слова, ради создания словесных новообразований, ради нахождения новых лексических стыков и схождений.

В лирике Мандельштама можно обнаружить множество новообразованных слов, число которых увеличивается к тридцатым годам. Тут и «светоговорильня», и «чернопахотная почва», и «щегловитый щегол», и «небохранилище», и «остроласковый лавр», и «черпоречивое молчанье», и «звукотлюбец», и «душемутитель»... Эти неологизмы образованы по принципам, которые близки принципам образования неологизмов у Маяковского и, отчасти, у Хлебникова.

«Нам слово нужно для жизни», — написал Маяковский еще

¹ «Разговор о Данте». с. 19.

² Там же, с. 18.

³ «О поэзии», с. 47.

в дореволюционные годы.¹ Мандельштам, создавая словесные новообразования, самым неожиданным образом сталкивая, сочетая слова, никогда не забывал об их смысле. Слова и словосочетания у него всегда содержательны, хотя порою и кажутся «зашифрованными», а иногда и в самом деле нуждаются в пояснениях. Скажем, вряд ли нужно разъяснять смысл такого сочетания слов, такого образа, как «переулков лающих чулки». Но, к примеру, слова «как лазурь черна» в стихотворении «Меня преследуют две-три случайных фразы...», написанном под впечатлением от похорон Андрея Белого, стоит пояснить. Речь идет о глазах А. Белого — бирюзовоголубых, лазурных, затененных смертью. Эти слова находятся в прямой связи с другим стихотворением, написанным на кончину А. Белого и прямо начинающимся словами: «Голубые глаза...» Точно так же и слова из стихотворения «Меня преследуют две-три случайных фразы...»:

О боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти... —

проясняются в сопоставлении со строками из стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость...»:

Как садятся стрекозы, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши

(художников, рисовавших А. Белого в гробу. — А. Д.).

В свое время критика подметила у Мандельштама пристрастие к излюбленным, стойким понятиям, к «кочующим» из стихотворения в стихотворение словам. Между тем говорить об этих словах как о стойких понятиях как раз и не следует, так как они нередко меняются в зависимости от контекста. Было бы, вероятно, небезынтересно проследить в лирике Мандельштама за изменчивостью таких понятий, как «тяжесть» (материи, состояния), «камень», «дерево», «голуби», таких эпитетов, как «синий», «сухой» и т. д. Но обратимся только к двум по видимости устойчивым понятиям и убедимся в их изменчивости.

Вот, например, слово «ласточка» — в самых разных значениях. В стихотворении «Пешеход» ласточка — просто птичка, парящая в небе:

¹ Владимир Маяковский, Полн. собр. соч., т. 1, М., 1955, с. 324.

Я ласточкой доволен в небесах.

В стихотворении «Прославим, братья, сумерки свободы...» ласточки — символы освобождения, воинство свободы:

Мы в легионы боевые
Связали ласточек...

Здесь Мандельштам шел от античной поэзии, от «классических военных фаланг ласточек».¹

А в стихотворении «Что поют часы-кузнечик?..» ласточка — символ молодости и жизни.

Символом слова выступает ласточка в другом стихотворении:

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется.

В уже упоминавшемся стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена...», в строках об Анджиолине Бозио, итальянской певице, умершей в Петербурге, ее смерть аналогизируется со смертью ласточки:

И живая ласточка упала
На горячие снега.

Наконец, в стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала?..», посвященном памяти актрисы О. Ваксель, появляется еще одно сравнение:

И твердые ласточки круглых бровей.

Как видим, ни о какой устойчивости понятия тут не может быть и речи.

Возьмем другое по видимости единое понятие — «век». Но и оно фигурирует у Мандельштама в трех смыслах. Речь идет о веке минувшем, о веке нынешнем, о грядущих веках.

Минувший век показан как умирающий, обреченный на гибель. Он пережил себя, проник в новое столетие и им отброшен со своих путей.

Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век, —

¹ «Разговор о Данте», с. 21.

говорится в стихотворении «Век», и заканчивается это стихотворение такими недвусмысленными словами:

Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

В стихотворениях «1 января 1924» и «Нет, никогда, ничей я не был современник...», связанных общностью мотивов, речь идет опять-таки об умирающем веке, который именуется «веком-властелином». Это определение стоит прокомментировать. Мандельштам считал, что века, в которые человек был поработан, подобны барсучьим норам. «Век, — писал он, — барсучья нора, и человек своего века живет и движется в скупом отмеренном пространстве, лихорадочно стремится расширить свои владения и больше всего дорожит выходами из подземной норы». ¹

В дальнейшем за словом «век» стоит в поэзии Мандельштама совсем иное понятие. Это — век нынешний, ведущий к грядущим векам. В стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков...» он — «вск-волкодав». В таком определении у поэта нет никакого оттенка отрицательного отношения к новому веку: этот век чинит справедливую расправу над волчьей сворой защитников «мира державного». Однако это, разумеется, все же одностороннее восприятие нового века. И в последующих стихах появляется тема собственной слитности с новым веком и преклонения перед ним:

Попробуйте меня от века оторвать...

*(«Полночь в Москве. Роскошно
буддийское лето...»)*

Смотрит века могучая века...

*(«Средь народного шума
и сбега...»)*

Такова эволюция слова «век» в поэзии Мандельштама. Как уже говорилось, каждое новое произведение поэта — это новое «здание», это каждый раз новая тема (или новый аспект темы) и новое ее решение.

Осип Мандельштам на своем пути, как уже отмечалось, испытывал и торможения, и «простой», — но, тем не менее, путь его был дорогой развития.

¹ «О поэзии», с. 59.

Мандельштама нередко волновали и печалили задержки и остановки на творческом пути. Летом 1931 года он написал стихотворение, в котором сравнивал себя с жокеем на ипподроме:

Держу пари, что я еще не умер,
 И, как жокей, ручаюсь головой,
 Что я еще могу набедокурить
 На рысистой дорожке беговой.

 Не волноваться: нетерпенье — роскошь.
 Я постепенно скорость разовью,
 Холодным шагом выйдем на дорожку,
 Я сохранил дистанцию мою.

*(«Довольно кукситься, бумаги
 в стол засунем. . .»)*

Поэт понимал, что время ждало от него большего, чем то, что он ему давал. И он искренне хотел «развить скорость». Но при этом возникали и препятствия субъективного характера.

В советские годы Осип Мандельштам отказался от ряда идеалистических идей и представлений, которые в свое время были воспитаны школой, высшей школой, литературной средой. Но некоторые пережиточные представления продолжали гнездиться в его сознании, как о том свидетельствует сборник статей «О поэзии», выпущенный в 1928 году. В этой книге отчетливо видна эволюция эстетических воззрений Мандельштама примерно за два десятилетия, но очевидны в ней и определенные заблуждения, идущие от прошлого. Одним из самых серьезных заблуждений Мандельштама была мысль об особой миссии поэта и о его особом поэтическом языке, — мысль, затруднявшая ему выход к широкому читателю революционной эпохи.

В 1913 году молодой Мандельштам обнародовал статью «О собеседнике», посвященную размышлениям о поэте и читателе. Статья эта полна противоречий: в ней были и верные мысли, отказ от камерности поэзии, от поэтической рефлексии, но были и мысли явно неверные, вроде утверждения, что «. . . обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета. . .»¹ Отстаивая идею об особой роли поэта, Мандельштам противопоставлял его даже литератору. Последний, дескать, преимуществен-

¹ «О поэзии», с. 21.

но поучает, ему нужен пьедестал, тогда как поэт «связан только с провиденциальным собеседником». ¹

Дореволюционный Мандельштам представлял себе своего читателя, своего «собеседника» как некую неведомую реальность. Он писал: «... поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность». ² Нельзя сказать, что Мандельштам не уважал читателя, — уже самое его определение — «собеседник» — противится такому предположению. Он считал читателя реальным, хотел говорить с ним через пространства времени. Но при этом желал сохранить дистанцию между собой и читателем, возражал против тесного сближения с ним.

Революция решительно изменила взаимоотношения между поэтами и читателями. Блок ответил на революцию «Двенадцатью» и выразил в своей поэме настроения широких народных масс. Поэтом масс, поэтом коммунистических идей стал Маяковский. Мандельштам так и остался поэтом-переходником. Он не шагнул широко в сторону новых читательских масс. Читательский круг, интересовавшийся его стихами, был невелик.

Со временем поэт стал понимать, что отсутствие контактов с широким читателем существенно мешает его развитию. Стихотворение 1931 года «Еще далеко мне до патриарха...» он закончил строками, выражавшими острую тоску по собеседнику:

И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: «Будь ласков, —
Сказать ему, — нам по пути с тобой...»

Через несколько лет эта тоска по общению с читателем вылилась в крик души:

Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей разговора б!
(«Куда мне деться в этом январе? ...»)

Нередко Осипу Мандельштаму было тягостно от сознания того, что он не сумел найти прочных связей с широким народным

¹ «О поэзии», с. 22.

² Там же, с. 25.

читателем молодой Советской страны. С середины двадцатых до середины тридцатых годов — в период своих упорных творческих поисков, направленных на сближение с жизнью и восприятие жизненных импульсов, — он оставался на позициях одинокого искателя. С 1928 года его стихотворения существовали либо в разрозненных публикациях, либо в рукописях. Из-за этого оставалась неведомой и неясной читателям дальнейшая духовная эволюция поэта, которая шла нелегким путем, не без драматических противоречий, но в которой пробивались с годами начала гражданственности, чувствовалось стремление к общению с людьми нового мира, к сближению с теми, кто, по слову поэта, образовывал «позвоночник» нового века.

Эпоха, век ждали от Осипа Мандельштама большего, чем он сделал, — он знал об этом, знал и мучился этим. Он не сумел быстро расстаться со всеми «родимыми пятнами» прошлого. Но все, что было им написано, — все было создано честно, убежденно, талантливо. Все было написано умным, трепетным, ищущим мастером.

Чтобы нагляднее подтвердить, что Мандельштам, несмотря на все трудности и задержки, был развивающимся поэтом, хочется сопоставить мотивы двух его стихотворений — раннего и позднего.

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить? —

спрашивал в 1909 году юноша Мандельштам, тяжело переживая трагедию отчуждения от общества.

А в марте 1937 года, больной, предчувствующий скорую смерть, поэт писал о своей дружбе с жизнью, о своей преданности людям:

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!

*(«Заблудился я в небе, —
что делать? . . .»)*

Человек гуманистических убеждений, тонкий лирик, неутомимый разведчик в недрах слова, Осип Мандельштам оставил стихи, органически принадлежащие русской художественной культуре предреволюционного и советского времени.

Александр Дымищ

СТИХОТВОРЕНИЯ

КАМЕНЬ
(1908 — 1915)

1

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с дерева,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной. . .

1908

2

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

3

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Всё большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

4

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твое —
От неизбежного.

От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

1909

5

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, —

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909

6

Есть целомудренные чары, —
Высокий лад, глубокий мир,
Далёко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

1909

7

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть, —
Узора милого не зачеркнуть.

1909

8

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая, —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

1909

9

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,

И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909

10

Когда удар с ударами встречается,
И надо мною роковой,
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится и грубо остановится,
И упадет веретено, —
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,
И, всё быстрее и быстрее,
Отправленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей. . .

1910

11

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой.

И если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь — трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

1910

12. SILENTIUM ¹

Она еще не родилась,
Она — и музыка, и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазуревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немóту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910

13

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста, —
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

1910

¹ Молчание (лат.) — *Ред.*

Как тень внезапных облаков,
 Морская гостя налетела
 И, проскользнув, прошелестела
 Смущенных мимо берегов.

Огромный парус строго реет;
 Смертельно-бледная волна
 Отпрянула, — и вновь она
 Коснуться берега не смеет.

И лодка, волнами шурша,
 Как листьями...

1910

Из омуга злого и вязкого
 Я вырос, тростинкой шурша,
 И страстно, и томно, и ласково
 Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
 В холодный и топкий приют,
 Приветственным шелестом встреченный
 Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
 И в жизни, похожей на сон,
 Я каждому тайно завидую
 И в каждого тайно влюблен.

1910

В огромном омуте прозрачно и темно,
 И томное окно белеет.
 А сердце, отчего так медленно оно
 И так упорно тяжелеет?

То всею тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То, как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай,
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой.

1910

17

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу.
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

1911

18

Скудный луч, холодной мерою,
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола,

И стоит осиротелая
И немая вышина,
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина.

Утро, нежностью бездонное, —
Полуявь и полусон,
Забытьс неутоленное —
Дум туманный перезвон. . .

1911

19

Воздух пасмурный влажен и гулок.
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек, —
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одиночек!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным —
Мировая туманная боль —
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь!

1911

20

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещей ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг,
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь, к нам...

1911

21

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит,
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучом.

И над лесом вечеореющим
Встала медная луна.
Отчего так мало музыки
И такая тишина?

1911

22

Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм — только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвою,
И совсем не вернется — или
Он вернется совсем другою.

О широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края —
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот. . .
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?

1911

23. РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь,
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своею,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей,

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем. . .

1911

На перламутровый челнок
 Натягивая шелка нити,
 О пальцы гибкие, начните
 Очаровательный урок!

Приливы и отливы рук, —
 Однообразные движенья,
 Ты заклинаешь, без сомненья,
 Какой-то солнечный испуг,

Когда широкая ладонь,
 Как раковина, пламенея,
 То гаснет, к теням тяготея,
 То в розовый уйдет огонь!

1911

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
 Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
 И день сгорел, как белая страница:
 Немного дыма и немного пепла!

1911

Я вздрагиваю от холода, —
 Мне хочется онеметь!
 А в небе танцует золото,
 Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
 Люби, вспоминай и плачь,
 И, с тусклой планеты брошенный,
 Подхватывай легкий мяч!

О. МАНДЕЛЬШТАМЪ.

КАМЕНЬ

СТИХИ.



А К М Э.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1913.

Так вот она, настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

1912

27

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред, —
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!

Будет и мой черед, ---
Чую размах крыла.
Так, но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или, свой путь и срок,
Я, исчерпав, вернусь:
Там — я любить не мог,
Здесь — я любить боюсь. . .

1912

28

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать,

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

1912

29

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».

1912

30. ПЕШЕХОД

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот.
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю, как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листьях,
И подлинно во мне печаль поет.

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа — в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

1912

31. КАЗИНО

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа — серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой.

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, —
Люблю следить за чайкою крылатой!

1912

32. ЗОЛОТОЙ

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске.
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темном кошельке!

И, дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал.
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!

Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны. . .
За прилавком щупает червонцы
Человек, — и все они пьяны.

«Будьте так любезны, разменяйте, —
Убедительно его прошу, —
Только мне бумажек не давайте —
Трехрублевок я не выношу!»

Что мне дѣлать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, боже мой?
Если я на то имею право, —
Разменяйте мне мой золотой!

1912

33. ЛЮТЕРАНИИ

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волнение.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил в даль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не падо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

1912

34. АЙЯ-СОФИЯ

Айя-София, — здесь остановиться
Судил господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество.
На парусах, под куполом, четыре
Архангела — прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

35. NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, — и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь —
отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

36

Мы напряженного молчанья не выносим, —
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: «Просим!»

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо!
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье — суета, и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

1912

37. СТАРИК

Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлена,
Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек.
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.

Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова,
Он исповедываться хочет --
Но согрешить сперва.

Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот, —
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.

А дома руганью крылатой,
От ярости бледна,
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена!

1913

38. ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, — как броненосец в доке, —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка. . .

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,

Где, продавая сбитель или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

39

«Hier stehe ich —
ich kann nicht anders. . .»

«Здесь я стою — я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора, —
И кряжистого Лютера незрячий
Витают дух над куполом Петра.

1913

40

. . . Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь — Петра создание,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

1913

41. БАХ

Здесь прихожане — дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом, Себастьяна Баха,
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик —
Лишь воркотня твоя, не боле,
О несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.

1913

42

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами.
Я с мужиками боролатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И твякают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

1913

43. АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листе прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятаю свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря.

1913

44

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка;
Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность — как морской песок.

Он осыпается с телеги, —
Не хватит на мешки рогож.
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь.

1913

45. КИНЕМАТОГРАФ

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне,
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы графини.

И в иступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется.
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,

Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему — отцовское наследство,
А ей — пожизненная крепость!

1913

46. ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный.

Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный.

Май. Грозových туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Всё моторы и гудки, —
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый,
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

1913

47. АМЕРИКАНКА

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокóпченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная, как тополь.
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

1913

48

Отравлен хлеб, и воздух вышит:
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать.

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня, — событий
Рассеивается туман.

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

1913

49. ДОМБИ И СЫН

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык, —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын.
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле, —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

1914

Летают валькирии, поют смычки.
 Громоздкая опера к концу идет.
 С тяжелыми шубами гайдуки
 На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов,
 Еще рукоплещет в райке глупец,
 Извозчики пляшут вокруг костров.
 Карету такого-то! Разъезд. Конец.

1914

...На луне не растет
 Ни одной былинки,
 На луне весь народ
 Делает корзинки, —
 Из соломы плетет
 Легкие корзинки.

На луне — полутьма
 И дома опрятней,
 На луне не дома —
 Просто голубятни,
 Голубые дома —
 Чудо-голубятни...

1914

Вполоборота, о печаль,
 На равнодушных поглядела.
 Спадая с плеч, окаменела
 Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
 Души расковывает недра:
 Так — негодующая Федра —
 Стояла некогда Рашель.

1914

О временах простых и грубых
 Копыта конские твердят,
 И дворники в тяжелых шубах
 На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
 Привратник, царственно ленив,
 Встал, и звериная зевота
 Напомнила твой образ, скиф,

Когда с дряхлеющей любовью,
 Мешая в песнях Рим и снег,
 Овидий пел арбу воловью
 В походе варварских телег.

1914

На площадь выбежав, свободен
 Стал колоннады полукруг, —
 И распластался храм господень,
 Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
 Но русский в Риме, — ну так что ж!
 Ты каждый раз, как иностранец,
 Сквозь рощу портиков идешь.

И храма маленькое тело
 Одушевленное стократ
 Гиганта, что скалою целой
 К земле беспомощно прижат!

1914

Есть иволги в лесах, и гласных долгота —
 В тонических стихах единственная мера.
 Но только раз в году бывает разлита
 В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волю на пастбище, и золотая лень
Из ростника извлечь богатство целой ноты.

1914

56

«Морожено!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего лёдника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают, что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914

57

Я не слышал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина, —
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине,
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

58. ЕВРОПА

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк.
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья,
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза,
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

1914

59. ПОСОХ

Посох мой — моя свобода,
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел,
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

1914

60. ОДА БЕТХОВЕНУ

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять.
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

.
.
.

Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке.

.
.

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить?
Кто может, ярче пламеня,
Усилье воли освятить?

Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритуфель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют.
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер, —
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего,
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

1914

61

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

1915

62

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим,
Вместе с именем, любовь.

1915

63. АББАТ

О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя, —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля.

Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличие,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

1915

64

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст — одна стрела.

И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.

1915

О свободе небывалой
 Сладко думать у свечи.
 «Ты побудь со мной сначала, —
 Верность плакала в ночи, —

Только я мою корону
 Возлагаю на тебя,
 Чтоб свободе, как закону,
 Подчинился ты, любя...»

— «Я свободе, как закону,
 Обручен, и потому
 Эту легкую корону
 Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
 Обреченным умереть,
 О прекрасном постоянстве
 И о верности жалеть!»

1915

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
 Я список кораблей прочел до середины:
 Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
 Что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
 На головах царей божественная пена, —
 Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
 Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
 Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
 И море черное, витийствуя, шумит
 И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листья,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И — месяц цезарей — мне август улыбнулся.

1915

Я не увижу знаменитой «Федры»,
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

«Как эти покрывала мне постылы. . .»

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.

Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданием крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина...

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
«Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира,
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!»

Когда бы грек увидел наши игры...

1915

TRISTIA
(1916 — 1920)

69

«Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!»

— Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда
· · · · ·
· · · · ·
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

«О, если б ненависть в груди моей кипела, —
Но, видите, само признание с уст слетело».

— Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра-ночь тебя сторожит
Среди белого дня.

«Любовью черною я солнце запятнала...
· · · · ·»

— Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.

Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.

1915, 1916

70. ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры, —
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир,
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, —
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь, —

Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры!
А я пою вино времен —
Источник речи италийской,
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи, —
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Холодный камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

1916

71

На развалнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи, —
Одну из них сам бог благословил,

Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли.
Царевича везут, немеет страшно тело,
И рыжую солому подожгли.

1916

72

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

1916

73

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

Не веря воскресенья чуду,
 На кладбище гуляли мы.
 — Ты знаешь, мне земля повсюду
 Напоминает те холмы

 Где обрывается Россия
 Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
 Широкий убегает луг.
 Мне от владимирских просторов
 Так не хотелось на юг.
 Но в этой темной, деревянной
 И юродивой слободе
 С такой монашкой туманной
 Остаться — значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
 И лба кусочек восковой,
 Я знаю: он остался белый
 Под смуглой прядью золотой.
 Целую кисть, где от браслета
 Еще белеет полоса.
 Тавриды пламенное лето
 Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
 И к Спасу бедному пришла,
 Не отрываясь целовала,
 А гордою в Москве была.
 Нам остается только имя:
 Чудесный звук, на долгий срок.
 Прими ж ладонями моими
 Пересыпаемый песок.

1916

1

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть
печальней, —

На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина,
Мерцают в зеркале подушки, чуть белее,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.

2

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

Когда социализм не пришел в организованные страны
 и не имел безусловной поддержки в странах
 социализма финансирование это пошел от государства
 на более высокие инженерные технологии

По рачи в. коммунистический проект финансировать
 как бы дом строить или такая машина
 Механизм в зеркале надписи есть книга
 и в крупных объемах кровань организация
 и в компаниях связанных с этим

~~Инициатива~~
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны

Когда финансировать социализм сейчас
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны

Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны

Инициатива финансировать в финансировании страны
 Инициатива финансировать в финансировании страны

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка, быть может Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

1916

77

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин, —
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли, —
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо, —
Целый лес незваных кораблей.

1916

78. ДЕКАБРИСТ

«Тому свидетельство языческий сенат, —
Сии дела не умирают!»
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,

Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

«Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!»
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

1917

79

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
«Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем», — и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, — идешь — никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни,
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы — на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,

В каменистой Тавриде наука Эллады, — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки».

Ну, а в комнате белой как прялка стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена, другая, — как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

1917

80

Еще далёко асфodelей
Прозрачно-серая весна,
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыдания,
Влачится траурной каймой

Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет, —
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет,
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

1917

81

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

1917

82

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде роши.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить, —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1917

Когда на площадях и в тишине келейной
 Мы сходим медленно с ума,
 Холодного и чистого рейнвейна
 Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
 Валгаллы белое вино,
 И светлый образ северного мужа
 Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
 Не знают радостей игры,
 И северным дружинам любви
 Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга —
 Чужого неба волшебство,
 И все-таки упрямая подруга
 Откажется попробовать его.

1917

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа,
 Нам пели Шуберта, — родная колыбель,
 Шумела мельница, и в песнях урагана
 Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир, коричневый, зеленый,
 Но только вечно-молодой,
 Где соловьиных лип рокошующие кроны
 С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья
 Та песня дикая, как черное вино:
 Это двойник, пустое привиденье,
 Бессмысленно глядит в холодное окно!

1918

Твое чудесное произношенье —
 Горячий посвист хищных птиц.
 Скажу ль: живое впечатленье
 Каких-то шелковых зарниц.

«Что» — голова отяжелела.
 «Цо» — это я тебя зову!
 И далеко прошелестело:
 Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата, —
 Смерть окрыленнее стократ.
 Еще душа борьбой объята,
 А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
 И ветра в шепоте твоём,
 И, как слепые, ночью долгой
 Мы смесь бессолнечную пьем.

1918

Что поют часы-кузнечик,
 Лихорадка шелестит,
 И шуршит сухая печка, —
 Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
 Жизни тоненькое дно, —
 Это ласточка и дочка
 Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет, —
 Это черный шелк горит.
 Но черемуха услышит
 И на дне морском простит.

Потому, что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

1918

87

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, — воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет.
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.

1918

88

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям, —

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон, —

Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт.

И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сияньи луны,
И убогого рынка лачуги,
И могучий дсрический ствол.

1918

89

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ!

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать,
время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек, — и вот
Не видно солнца, вся стихия
Щебечет, движется, живет.
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1918

90. TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских;
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове расставанье —
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снуёт челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.

О С И П
МАНДВАЛЬШТАМ

TRISTIA

PETRO
POLIS

1921



Не нам гадать о греческом Эрбе,
Для женщин воск что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано, гадая, умереть.

1918

91

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенок.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,

Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

1919

92

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина...

1919

93

Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы,
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети!
Легче камень поднять, чем имя твое повторить.
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землю была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

1920

94

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия — не Елена —
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой, —
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем — и бог с тобой.

1920

95

Венецкой жизни мрачной и бесплодной
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.

Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла. . .

Только в пальцах роза или склянка, —
Адриатика зеленая, прости! —
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

1920

96. ФЕОДОСИЯ

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаяешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамáки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя, —
Оно пропало, больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи, у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический уют — явление
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие, в челках,
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1920, 1922

97

Когда Психея-жизнь спускается к теням,
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов, —
Душа ведь — женщина, ей нравятся безделки, —
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке, не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

1920

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
 Слепая ласточка в чертог теней вернется,
 На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
 В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
 Прозрачны гривы табуна ночного.
 В сухой реке пустой челнок плывет.
 Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,
 То вдруг прокинется безумной Антигоной,
 То мертвой ласточкой бросается к ногам,
 С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
 И выпуклую радость узнаванья.
 Я так боюсь рыданья аонид,
 Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать,
 Для них и звук в персты прольется,
 Но я забыл, что я хочу сказать, —
 И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Всё не о том прозрачная твердит,
 Всё ласточка, подружка, Антигона...
 А на губах, как черный лед, горит
 Стигийского воспоминанье звона.

1920

В Петербурге мы сойдемся снова,
 Словно солнце мы похоронили в нем,
 И блаженное, бессмысленное слово
 В первый раз произнесем.
 В черном бархате январской ночи,
 В бархате всемирной пустоты,

Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи япварской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах», —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи
А ночного солнца не заметишь ты.

1920

100

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Всё космато — люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

118

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плоски
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка, Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина.
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна,
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга»,
И живая ласточка упала
На горячие снега.

1920

101

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, —
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить!

В самом маленьком духане
Ты обманщика найдешь.
Если спросишь «Телиани»,
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым. . .

1920, 1927

102

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

1920

За то, что я руки твои не сумел удержать,
 За то, что я предал соленые нежные губы,
 Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
 Как я ненавижу пахучие, древние срубы!

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
 Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
 Никак не уляжется крови сухая возня,
 И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
 Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
 Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
 Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
 И чувствует город свои деревянные ребра,
 Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
 И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
 Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
 И падают стрелы сухим деревянным дождем,
 И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
 И серою ласточкой утро в окно постучится,
 И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
 На стогах, шершавых от долгого сна, шевелится.

1920

Мне жалко, что теперь зима
 И комаров не слышно в доме.
 Но ты напомнила сама
 О легкомысленной соломе.

Стрекозы выются в синеве,
И ласточкой кружится мода,
Корзиночка на голове
Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Ты всё толкуешь наобум
От этого ничуть не хуже,
Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой.
Он побелел, он изнемог,
И все-таки еще немножко.

И право, не твоя вина,
Зачем оценки и изнанки?
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.

В тебе всё дразнит, всё поет,
Как итальянская рулада.
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,
В тебе всё прихоть, всё минута.
И тень от шапочки твоей —
Венецианская баута.

1920, 1923

Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,

И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шевéлит огромные спицы теней,
И желтой соломой бросает на пол деревянный...

1920

106

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятении
Вишневый нежный рот...

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,

И всё, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920

107

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но всё растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя — серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга;
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленатые туго.

1920

108. КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

1921

Умывался ночью на дворе, —
 Твердь сияла грубыми звездами.
 Звездный луч — как соль на топоре,
 Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты воротá,
 И земля по совести сурова, —
 Чище правды свежего холста
 Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
 И вода студеная чернее,
 Чище смерть, соленее беда,
 И земля правдивей и страшнее.

1921

Кому зима — арак и пунш голубоглазый,
 Кому — душистое с корицею вино,
 Кому — жестоких звезд соленые приказы
 В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
 И бестолкового овечьего тепла;
 Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота —
 И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
 И верещанье звезд щекочет слабый слух,
 Но желтизну травы и теплоту суглинка
 Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
 Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
 Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
 И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть люди темные торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу,
Кому — крутая соль торжественных обид.

О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.

1922

111

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит, — женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж.
Нежные руки Европы, берите всё!
Где ты для выи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мельканье рыб!
С нею безвесельный дальше плывет гребец.

1922

112

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Всё чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922

113

Как растет хлеб опара,
Поначалу хороша,
И беснуется от жару
Домовитая душа.

Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Подымают купола.

Чтобы силой или лаской
Чудный выманить припек,
Время — царственный подпасок —
Ловит слово-колобок.

И свое находит место
Черствый пасынок веков —
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.

1922

Я не знаю, с каких пор
 Эта песенка началась, —
 Не по ней ли шуршит вор,
 Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
 Еще раз поговорить,
 Прошуршать спичкой, плечом
 Растолкать ночь — разбудить.

Раскидать бы за стогом стог —
 Шапку воздуха, что томит;
 Распороть, разорвать мешок,
 В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
 Этих сухоньких трав звон,
 Уворованная нашлась
 Через век, сеновал, сон.

1922

Я по лесенке приставной
 Лез на включенный сеновал, —
 Я дышал звезд млечных трухой,
 Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
 Удлиненных звучаний рой,
 В этой вечной склоке ловить
 Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь.
 Добрых чувств на земле пять.
 Набухает, звенит темь,
 И растет, и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запоштит. . .

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем,
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна — скрепясь,
А другая — в заумный сон.

1922

116

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда,

И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

1922

117. МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК

.. Он подает куда как скупю
Свой воробьиный холодок —
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье —
Чаинка легкая возня, —
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях.

И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, —
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

1922

118. ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,

И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горячей рыбой мечет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

1922

119. НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ

Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,

Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе.
Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный
к пляшущей палубе,

И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор
геометра,

Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.
А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим —
Отцом путешествий, другом морехода, —
Говорим:

И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки,
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай,
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя.
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других, —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного
одуряющего запаха,

Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чебра, растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и всё живое в нем
плавает, как рыба,
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, —
Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются
лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханной
заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля, —
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко», или «Я не дам тебе яблока».
И лицо его точный слепок с голоса, который произносит
эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными
ногами,
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром
иноходца.

Так
Нашедший подкову

Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит;
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой
пшеницы.

Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову.

Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

1923

120. ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось...

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно, в крепь, родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,
И все-таки еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время;
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья,
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы.
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет ко мне, —
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной,

Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, —
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве!

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923

121

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские — событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки —
Клевали наскоро крупу свинцовых крох —
Фригийской бабушкой рассыпанный горох,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И в воздухе плывет забытая коринка,
И тесные дома — зубов молочных ряд
На деснах старческих — как близнецы стоят.
Здесь клички месяцам давали, как котят,
А молоко и кровь давали нежным львьятам;
А подрастут они — то разве года два
Держалась на плечах большая голова!

Большеголовые там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу, — я помню одного,
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу.
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора;
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой.

1923

122

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянть перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пенъем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

«Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя! Дай мне имя!
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини!»

1923

123. 1 ЯНВАРЯ 1924

Кто время целовал в измученное темя, —
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших, —

Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И, с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь, —
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,

То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва — опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».

Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд.
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптели керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,
Зсё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

1924

124

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, —
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого, —
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

1924

125

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома, —
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрической мельницей смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома, —
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И приемные с роялями, где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют вóрохами старых «Нив».

После бани, после оперы, — всё равно, куда ни шло, —
Бестолковое, последнее трамвайное тепло!

1924

126

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка,
Гляжу — изба, вошел в сенцы —
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка.

У изголовья, вновь и вновь,
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок.
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба еж брюхатый.
Хотели петь — и не смогли,
Хотели встать — дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони.
Скрипят ворота на заре,

И запрягают на дворе.
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

1925

127

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом. . .

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью, нет — с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой,
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже. . .

Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету, что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной;
И некому молвить: «Из табора улицы темной. . .»

1925

128

Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды — ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню.

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча —
До высокого плеча.

Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь.

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась —
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна, —
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем,
Той же улицей пойдем,

Без оглядки, без помехи
На сияющие вежи —
От зари и до зари
Налитые фонари.

129 — 140. *АРМЕНИЯ*

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких, бычачьих церквей.

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

2

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуй,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

3

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань, иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань, не город — орешек каленый,
Улиц твоих большепотых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Всё утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых Востока,
И вот лежишь на москательном ложе,
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гушу его целлулоидных терний
Смело, до хруста ее погрузи, —
Добудем розу без ножиц!
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу —
Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый —
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая —
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая —
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая —
Армения, Армения!

7

Не развалины, нет, но порубка могучего циркульного
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного
Руланы каменного сукна на капителях, как товар
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные Византией.

Холодно розе в снегу.
 На Севане снег в три аршина...
 Вытащил горный рыбак расписные лазурные
 сани.

Сытых форелей усатые морды
 Несут полицейскую службу
 На известковом дне.
 А в Эривани и в Эчмиадзине
 Весь воздух выпила огромная гора,
 Ее бы приманить какой-то окариной
 Иль дудкой приручить,
 Чтоб таял снег во рту.
 Снега́, снега́, снега́ на рисовой бумаге.
 Гора плывет к губам.
 Мне холодно. Я рад...

О порфирные цокая граниты,
 Спотыкается крестьянская лошадка,
 Забираясь на лысый цоколь
 Государственного звонкого камня.
 А за нею с узелками сыра,
 Еле дух переводя, бегут курдины,
 Примирившие дьявола и бога,
 Каждому воздавши половину.

Какая роскошь в нищенском селеньи
 Волосная музыка воды!
 Что это? Пряжа? Звук? Предупрежденье?
 Чур-чур меня! Далёко ль до беды!

И в лабиринте влажного распева
 Такая душная стрекочет мгла,
 Как будто в гости водяная дева
 К часовщику подземному пришла.

11

Я тебя никогда не увижу,
 Близорукое армянское небо,
 И уже не взгляну, прищурясь,
 На дорожный шатер Арарата,
 И уже никогда не раскрою
 В библиотеке авторов гончарных
 Прекрасной земли пустотелую книгу,
 По которой учились первые люди.

12

Лазурь да глина, глина да лазурь,
 Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
 Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
 Над книгой звонких глин, над книжною землей,
 Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
 Которой мучимся, как музыкой и словом.

16 октября — 5 ноября 1930

141

Как люб мне натугой живущий,
 Столетьем считающий год,
 Рожаящий, спящий, орущий,
 К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
 Все звуки ему хороши —
 Желтуха, желтуха, желтуха
 В проклятой горчичной глуши!

Октябрь 1930

142

Колючая речь араратской долины,
 Дикая кошка — армянская речь,
 Хищный язык городов глинобитных,
 Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Всё не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930

143

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом. . .

Да, видно, нельзя никак.

Октябрь 1930

144

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

145

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

146

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой,
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европéянок нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглеет,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя, под сурдинку:
«Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...»

Январь — февраль 1931

147

«Ma voix aigre et fausse...»

*P. Verlain*¹

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли,
Всё равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

¹ Мой голос пронзительный и фальшивый. *П. Верлен* (франц.). —
Ред.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

2 марта 1931

148

Колют ресницы, в груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно, — и все-таки дó смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

Март 1931

149

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—28 марта 1931

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Всё равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть...

Всё, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Всё равно!

27 марта 1931

151. РОЯЛЬ

Как парламент, жующий фрону,
Вяло дышит огромный зал,
Не идет Гора на Жиронду,
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голнаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих, конек-горбунок.

.

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931

152

— Нет, не мигрень, — но подай карандашик
ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого!

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шёпотью,
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.

Где-то на даче потом, в лесном переплете шагреновом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром
сиреневым. . .

— Нет, не мигрень, — но подай карандашик
ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого.

Дальше, сквозь стекла цветные, сощураясь, мучительно
вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина,
рыжая...

Дальше — еще не припомню — и дальше как будто
оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою ворванью...

— Нет, не мигрень, — но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

23 апреля 1931

153

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья
и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь
труда...
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна
и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками
звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топище найду.

3 мая 1931

154

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чеботах узких,
железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.

Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...

Ты скажешь: где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели — Бим и Бом.
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются
длинном,
Где арестованный медведь гуляет,
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказа лавровишней.
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен!

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно-скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!

Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал?

Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна!

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать: я тоже современник —
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая, и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется и в цинковую ванну, —
Изобрази еще нам, Марь Иванна!

Пусть это оскорбительно, — поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чаёт —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шалопуты. . .

Май — 4 июня 1931

155

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
«Такой, сякой». Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильма воровской.

Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок:
В нем слышно польское «Дзенькуе, пани»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Всё думаешь, к чему бы приохотиться
Посреди хлопушек и шутих,
Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу, —
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут — лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пушусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.

Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,

И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана,
И Тинторетто пестрому дивлюсь, —
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыгаться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: «Будь ласков, —
Сказать ему, — нам по пути с тобой. . .»

Май — сентябрь 1931

156

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться: нетерпенье — роскошь.
Я постепенно скорость разовью,
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

Какое лето! Молодых рабочих
 Татарские сверкающие спины
 С девической повязкой на хребтах,
 Таинственные узкие лопатки
 И детские ключицы.

Здравствуй, здравствуй,
 Могучий некрещеный позвоночник,
 С которым проживем не век, не два...

25 июня 1931

158. ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале
 В мусульманской стороне
 Мы со смертью пировали —
 Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
 Пропеченный, как изюм,
 Словно дьявола поденщик, —
 Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
 То бессмысленное «цо»;
 Словно розу или жабу,
 Он берег свое лицо.

Под кожевенную маской
 Скрыв ужасные черты,
 Он куда-то гнал коляску
 До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
 И не слезть было с горы,
 Закружились фаэтоны,
 Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб кружилась каруселью
Кисло-сладкая земля.

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

Июнь 1931

159

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Февраль 1932

162

160. ЛАМАРК

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх.
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: «Природа вся в разломах,
Зренья нет, — ты зришь в последний раз».

Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил».

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех.

7—9 мая 1932

Увы, растаяла свеча
 Молодчиков каленых,
 Что хаживали вполплеча
 В камзольчиках зеленых,
 Что пересиливали срам
 И чумную заразу
 И всевозможным господам
 Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
 В порочных длинных платьях,
 Что проводили дни, как сон,
 В пленительных занятиях:
 Лепили воск, мотали шелк,
 Учили попугаев
 И в спальню, видя в этом толк,
 Пускали негодяев.

22 мая 1932

162. ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
 Глубокий обморок сирени
 И красок звучные ступени
 На холст как струнья положил.

Он понял масла густоту, —
 Его запекшееся лето
 Лиловым мозгом разогрето,
 Расширенное в духоту.

А тень-то, тень всё лиловойй,
 Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
 Ты скажешь: повара на кухне
 Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
 Недомалеваны вуали,
 И в этом сумрачном развале
 Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Май 1932

Дайте Тютчеву стрекóзу, —
Догадайтесь, почему!
Веневитинову — розу,
Ну, а перстень — никому!

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

Май — июль 1932

165. БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему.
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил «спасибо»
И не нашел от смущения слов.
Ни у кого — этих звуков изгибы...
И никогда — этот говор валов!..

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
«Я к величаньям еще не привык,
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык».

Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

18 июня 1932

166 — 168. СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

1

Сядь, Державин, развалися, —
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал,
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом, —
Что́ ему до наших бед?
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет потом, конским топом,
Нет, жасмином, нет, укропом,
Нет, дубовою корой!

2

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо-поката
Кажется земля, пока, —
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

Полюбил я лес прекрасный,
 Смешанный, где козырь — дуб.
 В листьях клена — перец красный,
 В иглах еж — черноголуб.

Там фисташковые молкнут
 Голоса на молоке,
 И когда захочешь шелкнуть —
 Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий,
 В желудевых шапках все,
 И белок кровавый белки
 Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
 Хвой павлинья кутерьма,
 Ротозейство и величье
 И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
 В треуголках носачи,
 На углях читают книги
 С самоваром палачи.

И еще грибы волнушки
 В сбруе тонкого дождя
 Вдруг поднимутся с опушки
 Так — немного погоды. . .

Там без выгоды уроды
 Режутся в девятый вал,
 Храп коня и крап колоды,
 Кто кого? Пошел развал —

И деревья, брат на брата,
 Восстают. Понять спеши:
 До чего аляповаты,
 До чего как хороши!

2—7 июля 1932

169. К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На Западе, у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб — ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нэхтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8—12 августа 1932

170. АРИОСТ

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.

Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной — кузнечик мускулистый,
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый,
И прямо на луну взлетает враль плечистый.

Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А на дворе у рыб ученый был советник.

О, город ящериц, в котором нет души,
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала, —
И солнце рыжего ума взошло в глуши.

Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,

Ягненку на горе, монаху на ослиати,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И свежей, как заря, удивлены утрате...

4—6 мая 1933 — июнь 1935

171

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок,
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933, июль 1935

172

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Январь 1934

173

Голубые глаза и горячая лобная кость,
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец.

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется: казнь, а читается правильно: песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь...

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей,
Не бумажные дести, а вести спасают людей!

Как садятся стрекозы, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь,
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямаясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие, те,
Каково тебе там, в пустоте, в чистоте — сироте...

10 января 1934

174

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей, —

172

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Железный пух в морозной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему пространств инакомерных норы,
Их близких, их союзных голоса,
Их внутренних ристалищные споры
Представились в полвека, в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради:
Лиясь для мышц и бьющихся висков;

Лиясь для ласковой, только что снятой, маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот;
Сон, в оболочке сна, внутри которой снилось,
На полшага продвинуться вперед!

А посреди толпы, задумчивый, бородатый,
Уже стоял гравер, друг меднохвойных досок,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Подарок зрения и многолюдства чин!

Январь 1934

175

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

173

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно окающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков, —
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же, мне, как янычару, люб
Этот крошечный летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ.

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашыюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога —
Уходи, уйди, еще побудь!..

Февраль 1934

176

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком да кровавым песком... .

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

1934

На мертвых ресницах Исакий замерз,
И барские улицы сини.
Шарманщика смерть и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине.

Уже выгоняет выжлятник пожар,
Линеек раскинутых стайку,
Несется земля — мебелированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман, —
Движенье, движенье, движенье.

3 апреля 1935

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчуждении и в силе, —
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3—4 апреля — 3 июня 1935

179. ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли.

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа, —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в округности есть что-то.

И все-таки земля — проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, —
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо.

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском провороте.
Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен,
глазаст,
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

180

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел, —
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском провороте...
А небо, небо — твой Буонаротти!

Апрель 1935

181

Я живу на важных огородах, —
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.

Зернозем

1.

Переувлажена, пережирна, все в хоме.
Все в хоме как маленькая, все воздух и призор,
Все рассыпалось, все образует хор, —
Коточки влажные моет землю и воли...

2.

В дни ранней пахоты зерна до синевы,
И безоружная в ней зимней работе
Тысячелетние распавшиеся молвы:
Знай безоружное в окружности себя что-то.

3.

И все-таки земля — проруха и обух.
Не утратить ее, как в ноги ей на бухай,
Инойшей фрейгой направивает слух,
Кларнетом упрямим зазывает, ух...

4.

Как на лемех приятен курный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну здравствуй зернозем: будь мучительней,
Знадаст...
Зерноземное молванье в работе

август 38.

В.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка.

Апрель 1935

182 — 183

1

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла, —
Вверх и вниз на Казань и на Чёрдынь несла.

Чернолюдем велик, чернолесьем сожжен
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.

На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная верста поднялась в высоту.

Апрель 1935

2

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на бучек.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Май 1935

184

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей, —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой,
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой в дирижерских фракках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель. . .

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты — четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!

Апрель — 18 июня 1935

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
 Еще гуляют в городах Союза
 Из мотыльковых лапчатых материй
 Китайчатые платица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
 Каштановые собирает взятки,
 И падают на чистую салфетку
 Разумные густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
 Еще комета нас не очумила,
 И пишут звездоносно и хвостато
 Толковые лиловые чернила.

24 мая 1935

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
 Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,
 И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,
 И скат ее нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз — до рисовых полей,
 Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

187. СТАНСЫ

Я не хочу средь юношей тепличных
 Разменивать последний грош души,
 Но, как в колхоз идет единоличник,
 Я в мир вхожу, — и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки,
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покррой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разлучили. А теперь, пойми,
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

Подумаешь, как в Чёрдыне-голúбе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме.
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме,
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки, —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка, —
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока.

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила — и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё — немецких братьев шеи,
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен.

Как «Слово о полку», струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружие —
Сухая влажность черноземных га...

Май — июнь 1935

188

От сырой простыни говорящая, —
Знать, нашелся на рыб звукопас, —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последней выточки —
На равнины зияющий пах...

Было слышно гудение низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла...

Измеряй меня, край, перекраивай, —
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева, —
Помоги, развяжи, раздели...

Июнь 1935

189

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов,
Гуди, помощник и моих трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко,
Как новгородский гость Садко

Под синим морем глубоко,
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

6—9 декабря 1936

190

Мой щегол, я голову закину,
Поглядим на мир вдвоем.
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье —
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —
Не посмотрит — улетел!

9—27 декабря 1936

191

Пластинкой тоненькой «жилета»
Легко щетину спячки снять, —
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины —
Честь Рюисдалевых картин,
И на почин — лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты

И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар —
Как цепь шатров в тенистый жар.
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво.
Над желтым лагерем жнивья —
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели.

15—27 декабря 1936

192

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро,
Не дворянское угодье —
Океанское ядро.
Я люблю ее рисунок,
Он на Африку похож.
Дайте свет, — прозрачных лунок
На фанере не сочтешь. . .
Анна, Россошь и Гремячье, —
Я твержу их имена.
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных,
Полон воздуха был рот,

Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел-покров.
Трудодень страны знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова.
Шутишь — родина щегла!
Только города немного
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

23—29 декабря 1936

193

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес, — еловый? —
Не еловый, а лиловый,
И какая там береза,
Не скажу наверняка, —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

26 декабря 1936

Как подарок запоздалый
 Ощутима мной зима,
 Я люблю ее сначала
 Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
 Как начало грозных дел.
 Перед всем безлесным кругом
 Даже ворон оробел.

Но сильнее всего непрочно-
 Выпуклых голубизна,
 Полукруглый лед височный
 Речек, баюющих без сна...

29—30 декабря 1936

Твой зрачок в небесной корке,
 Обращенный вдаль и ниц,
 Защищают оговорки
 Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
 Долго жить в родной стране,
 Омут ока удивленный, —
 Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
 В мимолетные века,
 Светлый, радужный, бесплотный,
 Умоляющий пока.

2 января 1937

Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста, —
На холсте уста вселенной, но она уже не та!

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль, —
В синий, синий цвет синели океана вьелась соль.

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале черствее хлеба — молодых тростинки роц,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей,

Не хочет петь линючий
Ленивый богатырь,
И малый, и могучий
Зимующий снегирь.

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей. . .

9—10 января 1937

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой,

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен, —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыню просит.

15—16 января 1937

199

В лицо морозу я гляжу один, —
Он — никуда, я — ниоткуда,
И всё уютится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен,
Десятизначные леса — почти что те. . .
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

16 января 1937

200

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плывал по дуге
Неначинающихся путешествий. . .

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще, воронежских холмов —
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

18 января 1937

201

Я нынче в паутине световой, —
Черноволосой, светло-русой.
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли, —
Таких прозрачных плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрю, каштановой волной —
Его звучаньем — умывался. . .

19 января 1937

202

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособие?
А коршун где и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть — трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы,
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба,

Он — эхо и привет, он — вежа, нет, — лемех. . .
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех,
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января — 4 февраля 1937

203

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей. . .

21—22 января 1937

204

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журиба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чашах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было, —
Губы жарки, слова черствы, —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937

205

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы,
И прячутся поспешно в уголки
И выбегают из углов угланы.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке,

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
«Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей разговора б!»

Январь — 1 февраля 1937

206

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен,
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг — горька морей трава,
Ложноволосая — и пахнет долгой ложью.
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет. . .
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье,
Иль этот ровный край — вот все мои права,
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

4 февраля 1937

207

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.
Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми,

Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937

208

Еще он помнит башмаков износ,
Моих подметок стертые величье,
А я его, — как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы, —
Балкон-наклон-подкова-конь-балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы. . .

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света,
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

7—11 февраля 1937

209

Пою, когда гортань — сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
А грудь стесняется — без языка — тиха:
Уже не я пою — поет мое дыханье —
И в горных ножнах слух, и голова глуха. . .

Песнь бескорыстная — сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов — смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха —
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,

Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха.

8 февраля 1937

210

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черногосым,
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную.

8 февраля 1937

211

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой —
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов —
До заповедей роды и первины —
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины. . .

Карающего пеня материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий вид
Не стоит твоего — праматери — мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

212

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженный
Индевеет денежный, обиженный. . .

Но фиалка и в тюрьме — с ума сойти в безбрежности! —
Свищет песенка-насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая.

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли, —

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницею.

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, —

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3 марта 1937

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
 С разрезанною розой в колесе
 Играли рыбы, дом построив пресный.
 Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
 Недуги — недруги других невоскрытых дуг.
 Фиалковый пролет газель перебежала,
 И башнями скала вздохнула вдруг, —

И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
 И средь ремесленного города-сверчка
 Мальчишка-океан встает из речки пресной
 И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

Я скажу это начерно, шепотом,
 Потому что еще не пора:
 Достигается потом и опытом
 Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища
 Забываем мы часто о том,
 Что счастливое небохранилище —
 Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937

215. РИМ

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
 И разбрызгавшись, больше не спят
 И, однажды проснувшись, расплакавшись,
 Во всю мочь своих глоток и раковин

Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, —

Древность летняя, легкая, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, —
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки. . .

Все твои, Микельанджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд, —
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек,
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты,
И раскрыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

Заблудился я в небе, — что делать?
 Тот, кому оно близко, ответь!
 Легче было вам, Дантовых девять
 Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью, — ей снится
 Убивать и сейчас же ласкать,
 Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
 Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
 Остроласковый лавр на виски,
 Лучше сердце мое разорвите
 Вы на синего звона куски!

И когда я умру, отслуживши,
 Всех живущих прижизненный друг,
 Чтоб раздался и шире и выше
 Отклик неба во всю мою грудь!

19 марта 1937

Заблудился я в небе, — что делать?
 Тот, кому оно близко, ответь!
 Легче было вам, Дантовых девять
 Атлетических дисков, звенеть,
 Задохаться, чернеть, голубеть. . .

Если я не вчерашний, не зряшний,
 Ты, который стоишь надо мной,
 Если ты виночерпий и чашник,
 Дай мне силу без пены пустой
 Выпить здравье кружащейся башни, —
 Рукопашной лазури шальной.

Голубятни, черноты, скворешни,
 Самых синих теней образцы,

Лед весенний, лед высший, лед вешний,
Облака — обаянья борцы —
Тише: тучу ведут под уздцы!

19 марта 1937

218

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!

А ты в кругу лучись, —
Другого счастья нет,
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

27 марта 1937

219

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням;
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочную выдумкой пар.

30 апреля 1937

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа, не знаю чья, жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще, разумеите!»

Апрель 1937

Клейкой клятвой пахнут почки,
Вот звезда скатилась, —
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

«Подожди», — шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
«Мне бы только сына. . .»

Стала б я совсем другою
Жизнью величаться,
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном. . .»

Подмигнув на полуслове,
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.

Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже; —
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
«Вы, грома́, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?»

Да из свежих одиночеств
Леса — крики пташьи,
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
«Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!»

2 мая 1937

222

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, —
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.

И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется — смешана, обрывчива.

4 мая 1937

223 — 224

1

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

2

Есть женщины, сырой земле родные.
И каждый шаг их — гулкое рыданье.
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье.
Что было поступь — станет недоступно.
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет, — только обещанье.

4 мая 1937

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

225

О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый
и острый.

В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве титана.
И песчаная отмель — добыча вечернего вала,
Как невеста, белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы
И на дно опускались и тихое дно зажигали,
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце, и первые звезды мигали;
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

1908

226

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный —
Невидимый, замороженный лес,
Где носится какой-то шорох смутный,
Как дивный шелест шелковых завес.

203

В безумных встречах и туманных спорах,
На перекрестке удивленных глаз
Невидимый и непонятный шорох
Под пеплом вспыхнул и уже погас..

И как туманом одеваешь лица,
И слово замирает на устах,
И кажется — испуганная птица
Метнулась в вечеряющих кустах.

1908

227

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг. . .

1908

228

В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободою томим,
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,
Исчезнуть навсегда, но суждено идти мне
По снежной улице, в вечерний этот час
Собачий слышен лай и запад не погас,
И попадаются прохожие навстречу.
Не говори со мной! Что я тебе отвечу?

1909

229

Истончается тонкий тлен.
Фиолетовый гобелен.

К нам на воды и на леса
Опускаются небеса.

Нерешительная рука
Эти вывела облака,

И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.

Недоволен стою и тих
Я — создатель миров моих,

Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса...

1909

230

На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и всё выше ты
Возводишь изумленный взор?

Вверху — такая темнота —
Ты скажешь — время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.

Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!

1909

231

Листьев сочувственный шорох
Угадывать сердцем привык,
В темных читаю узорах
Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли —
Прозрачная, строгая ткань. . .
Острые листья исчисли —
Словами играть перестань.

К высям просвета какого
Уходит твой лиственный шум —
Темное дерево слова,
Ослепшее дерево дум?

1910

232

Единственной отрадой
Отныне сердцу дан —
Неутомимо падай,
Таинственный фонтан.

Высокими снопами
Взлетай и упадай,
И всеми голосами
Вдруг — сразу умолкай.

Но ризой думы важной
Всю душу мне одень —
Как лиственницы влажно-
Трепещущая сень.

1910

233. ЗМЕЙ

Осенний сумрак — ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть. . .
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, господь!

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу,
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и музыки не хочу.

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок.

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь,
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пенем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон!

1910

234

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь. . .
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.

1910

235

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог,
И тяжелым панцирем презренья
Я окован с головы до ног.

Иногда со мной бывает нежен
И меня преследует двойник,
Как и я — он так же неизбежен
И ко мне внимательно приник.

И, глухую затаив развязку,
Сам себя я вызвал на турнир,
С самого себя срываю маску
И презрительный лелею мир.

Я своей печали недостоин,
И моя последняя мечта —
Роковой и краткий гул пробоев
Моего узорного щита.

1910

236

Неумолимые слова...
Окаменела Иудея,
И, с каждым мигом тяжелея,
Его поникла голова.

Стояли воины кругом
На страже стынувшего тела,
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом.

И царствовал, и никнул он,
Как лилия в родимый омут,
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон.

1910

237

Под грозowymi облаками
Несется клекот вещей птиц:
Довольно огненных страниц
Уж перевернуто веками!

В священном страхе тварь живет,
И каждый совершил душою —
Как ласточка перед грозою —
Неописуемый полет.

Когда же солнце вас расплавит,
Серебряные облака,
И будет вышина легка,
И крылья тишина расправит?

1910

Душу от внешних условий
 Освободить я умею:
 Пенье — кипение крови
 Слышу — и быстро хмелею.

И вещества, мне родного,
 Где-то на грани томленья,
 В цепь сочетаются снова
 Первоначальные звенья.

Там в беспристрастном эфире
 Взвешены сущности наши —
 Брошены звездные гири
 На задрожавшие чаши;

И в ликованьи предела
 Есть упоение жизни:
 Воспоминание тела
 О неизменной отчизне.

1911

Я знаю, что обман в видении немислим,
 И ткань моей мечты прозрачна и прочна;
 Что с дивной легкостью мы, созидая, числим
 И достигает звезд полет веретена.

Когда, овеяно потусторонним ветром,
 Оно оторвалось от медленной земли,
 И раскрывается неуловимым метром
 Рай — распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья
 По мановению эфирного гонца —
 В край, где слагаются заоблачные звенья
 И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь, художник,—
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

1911

240

Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность безотчетна
И как ты называешь
Мой трепет — всё равно;

И для чего признанье,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?

Дай руку мне. Что́ страсти?
Танцующие змеи.
И таинство их власти —
Убийственный магнит!

И змей тревожный танец
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

1911

241

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, вясь,
Я подымаюсь над собою, —

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою. . .

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, —

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну.

1911

212

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат черный блеск пруда,
И вздрагивает, тростниками
Чуть окаймленная, вода.

То пряжу за собою тянут
И словно паутину ткут,
То, распластавшись, в омут канут,
И волны траур свой сомкнут.

И я, какой-то невеселый,
Томлюсь и падаю в глуши —
Как будто чувствую уколы
И холод в тайниках души. . .

1911

213. ШАРМАНКА

Шарманка, жалобное пенье
Тягучих арий, дребедень —
Как безобразное виденье,
Осеннюю тревожит сень. . .

Чтоб всколыхнула на мгновенье
Та песня вод стоячих лень,
Сентиментальное волненье
Туманной музыкой одень.

Какой обыкновенный день!
Как невозможно вдохновенье —
В мозгу игла, брожу как тень.

Я бы приветствовал кремень
Точильщика — как избавленье:
Бродяга — я люблю движенье.

1912

244

Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты,
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощный двор когда-то мерил ты:
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха!

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут.

Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

1912

245. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло. . .
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,

И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы. . .

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма. . .
Особняки — а не дома!

Свист паровоза. . . Едет князь.
В стеклянном павильоне свита! . .
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, —
Не сомневаюсь — это князь. . .

И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой,
Что возвращается домой. . .

1912

246

Когда показывают восемь
Часы собора-исполина,
Мы в полусне твой призрак носим,
Чужого города картина.

В руках плетеные корзинки,
Служанки спорят с продавцами,
Воркуют голуби на рынке
И плещут сизыми крылами.

Хлебá, серебряные рыбы,
Плоды и овощи простые,
Крестьяне — каменные глыбы,
И краски темные, живые.

А в сетке пестрого тумана
Сгрудилась ласковая стая,
Как будто площадь утром рано —
Торговли скиния святая.

1912

247

Тысячеструйный поток —
Журчала весенняя ласка.
Скользнула-мелькнула коляска,
Легкая, как мотылек.

Я улыбнулся весне,
Я оглянулся украдкой —
Женщина гладкой перчаткой
Правила — точно во сне.

В путь убегала она,
В траурный шелк одета,
Тонкая вуалета —
Тоже была черна. . .

1912

248

Веселая скороговорка;
О, будни — пляска дикарей!
Я с невысокого пригорка
Опять присматриваюсь к ней.

Бывают искренние вкусы,
И предприимчивый моряк
С собой захватывает бусы,
Цветные стекла и табак.

Люблю обмен. Мелькают перья.
Наивных восклицаний дождь.
Лоснящийся от лицемерья,
Косится на бочонок вождь.

Скорей подбросить кольца, трубки —
За мех, и золото, и яд;
И с чистой совестью, на шлюпке,
Вернуться на родной фрегат!

1913

249. ПЕСЕНКА

У меня не много денег,
В кабаках меня не любят,
А служанки вяжут веник
И сердито щепки рубят.

Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать.

Голубые судомойки,
Добродетельная челядь,
И на самой жесткой койке
Ваша честность рай вам стелет.

Тяжела с бельем корзина,
И мясник острит так плотски.
Тем краснее льются вина
До утра в хрусталь господский!

1913

250. ЛЕТНИЕ СТАНСЫ

В аллее колокольчик медный,
Французский говор, нежный взгляд,
И за решеткой заповедной
Пустеет понемногу сад.

Что делать в городе в июне?
Не зажигают фонарей.
На яхте, на чухонской шхуне
Уехать хочется скорей!

Нева, как вздувшаяся вена,
До утренних румяных роз.
Везя всклокоченное сено,
Плетется на асфальте воз.

А там рабочая землянка,
Трещит и варится смола.
Ломовика судьба-цыганка
Обратно в степи привела. . .

И с бесконечной челобитной
О справедливости людской
Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой.

1913

251. АМЕРИКАН БАР

Еще девиц не видно в баре,
Лакей невежлив и угрюм;
И в крепкой чудится сигаре
Американца едкий ум.

Сияет стойка красным лаком,
И дразнит сода-виски форт:
Кто незнаком с буфетным знаком
И в ярлыках не слишком тверд?

Бананов груда золотая
На всякий случай подана,
И продавщица восковая
Невозмутима, как луна.

Сначала нам слегка взгрустнется,
Мы спросим кофе с кюрассо.
Вполоборота обернется
Фортуны нашей колесо!

Потом, беседа негромко,
Я на вращающийся стул
Влезаю в шляпе и, соломкой
Мешая лед, внимаю гул. . .

Хозяйский глаз — желтей червонца —
Мечтателей не оскорбит. . .
Мы недовольны светом солнца,
Теченьем медленных орбит!

1913

252

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

1913

253. МАДРИГАЛ

Нет, не поднять волшебного фрегата —
Вся комната в табачной синеве,
И пред людьми русалка виновата,
Зеленоглазая, в морской траве.

Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла,
И не заметила, что платья тлеет
Зеленый шелк и на полу зола.

Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли.
Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли.

1913

Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты
 И склянки с кислотой, часы хрипят и бьют —
 Гигантские шаги, с которых петли сняты, —
 В туманной памяти виденья оживут.

И лихорадочный больной, тоской объятый,
 Худыми пальцами свивая тонкий жгут,
 Сжимает свой платок, как талисман крылатый,
 И с отвращением глядит на круг минут. . .

То было в сентябре, вертелись флюгера,
 И ставни хлопали, но буйная игра
 Гигантов и детей пророческой казалась,

И тело нежное — то плавно подымалось,
 То грузно падало: средь пестрого двора
 Живая карусель без музыки вращалась!

1913

255. СПОРТ

Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
 И черни он понравился вполне.
 Потомки толстокожего футбола:
 Крокет на льду и поло на коне.

Средь юношей теперь — по старине
 Цветет прыжок и выпад дискобола,
 Когда сойдутся, в легком полотне,
 Оксфорд и Кембридж — две приречных школы.

Но только тот действительно спортсмен,
 Кто разорвал печальной жизни плен:
 Он знает мир, где дышит радость, пенясь. . .

И детского крокета молотки,
 И северные наши городки,
 И дар богов — великолепный теннис!

1913

256. ФУТБОЛ

Телохранитель был отравлен.
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обесславлен,
Футбола толстокожий бог.

И с легкостью тяжеловеса
Удары отбивал боксер:
О, беззащитная завеса,
Неохраняемый шатер!

Должно быть, так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова.

Неизъяснимо лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась. . .

1913

257. ВТОРОЙ ФУТБОЛ

Рассеен утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел;
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Чуть-чуть неловки, мешковаты —
Как подобает в их лета, —
Кто мяч толкает угловатый,
Кто охраняет ворота. . .

Любовь, охотничьи попойки —
Всё в будущем, а ныне — скорбь,
И вскакивать на жесткой койке
Чуть свет, под барабанов дробь!

Увы: ни музыки, ни славы!
Так от зари и до зари,
В силках науки и забавы,
Томятся дети-дикари.

Осенней путаницы сито.
Деревья мокрые в золе.
Мундир обрызган. Грудь открыта.
Околыш красный на земле.

1913

258

Заснула чернь! Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил зверь.

Курантов бой и тени государей. . .
Россия, ты, на камне и крови,
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!

1913

259. АВТОПОРТРЕТ

В поднятьи головы крылатый
Намек — но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость,
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

1914

Как овцы, жалкою толпой
 Бежали старцы Еврипида.
 Иду змеиною тропой,
 И в сердце темная обида.

Но этот час уж недалек:
 Я отряхну мои печали,
 Как мальчик вечером песок
 Вытряхивает из сандалий.

1914

Поговорим о Риме — дивный град —
 Он утвердился купола победой.
 Послушаем апостольское credo:
 Несется пыль, и радуги висят!

На Авентине вечно ждут царя —
 Дванадесятых праздников кануны!
 И строго-канонические луны
 Не могут изменить календаря.

На дольный мир бросает пепел бурый
 Над Форумом огромная луна,
 И голова моя обнажена, —
 О, холод католической тонзуры!

1914

Есть ценностей незыблемая скала
 Над скучными ошибками веков.
 Неправильно наложена опала
 На автора возвышенных стихов.

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явление Озерова —
Последний луч трагической зари.

1914

263. ЕГИПТЯНИН

Я выстроил себе благополучья дом,
Он весь из дерева, и ни куска гранита!
И царская его осматривала свита —
Там виноградники, цветник и водоем.

Чтоб воздух проникал в удобное жилье,
Я вынул три стены в преддверьи легкой клетки,
И безошибочно я выбрал пальмы эти
Краеугольными — прямые, как копье.

Кто может описать сановника доход?
Бессмертны высокопоставленные лица.
(Где управляющий? Готова ли гробница? . . .)
В хозяйстве письменный я слушаю отчет.

Тяжелым жерновом мучнистое зерно
Приказано смолоть служанке низкорослой,
Священникам налог исправно будет послан,
Составлен протокол на хлеб и полотно.

В столовой на полу пес, растянувшись, лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —
Загробных радостей вещественный залог!

1914

Ни триумфа, ни войны!
 О, железные, доколе
 Безопасный Капитолий
 Мы хранить осуждены?

Или римские перуны —
 Гнев народа — обманув,
 Отдыхает острый клюв
 Той ораторской трибуны?

Или возит кирпичи
 Солнца дряхлая повозка,
 И в руках у недоноска
 Рима ржавые ключи?

1914

265. РЕЙМС И КЕЛЬН

...Но в старом Кельне тоже есть собор,
 Неконченный и все-таки прекрасный,
 И хоть один священник беспристрастный,
 И в дивной целости стрельчатый бор,

Он потрясен чудовищным набатом,
 И в грозный час, когда густеет мгла,
 Немецкие поют колокола:
 «Что сотворили вы над реймским братом?»

1914

266. ENCYCLICA ¹

Есть обитаемая духом
 Свобода — избранных удел.
 Орлиным зреньем, дивным слухом
 Священник римский уцелел.

¹ Энциклика (лат.), то есть папское послание. — *Ред.*

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит:
В апостольском созвучьи — Roma! —
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!

1914

267

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И евхаристия, как вечный полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

1915

268

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи овцы — черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи — передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.

На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.

1915

269. ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Императорский виссон
И моторов колесницы, —
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лóскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла.

1915

270

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.

В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

1916

271

О, этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

1916

«Я потеряла нежную каменю,
 Не знаю где, на берегу Невы.
 Я римлянку прелестную жалею», —
 Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
 Тревожить прах божественных гробниц?
 Еще одна пушистая снежинка
 Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
 Камей нет, нет римлянки, увя!
 Я Тинатину смуглую жалею, —
 Девиный Рим на берегу Невы.

1916

273. АКТЕР И РАБОЧИЙ

Здесь, на твердой площадке яхт-клуба,
 Где высокая мачта и спасательный круг,
 У южного моря, под сенью Юга
 Деревянный пахучий строился сруб!

Это игра воздвигает здесь стены!
 Разве работать — не значит играть?
 По свежим доскам широкой сцены
 Какая радость впервые шагать!

Актер — корабельщик на палубе мира!
 И дом актера стоит на волнах!
 Никогда, никогда не боялась лира
 Тяжелого молота в братских руках!

Что сказал художник, сказал и работник:
 «Воистину, правда у нас одна!»
 Единым духом жив и плотник,
 И поэт, вкусивший святого вина!

А вам спасибо! И дни, и ночи
 Мы строим вместе — и наш дом готов!

Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков!

Веселые стружки пахнут морем,
Корабль оснащен — в добрый путь!
Плывите же вместе к грядущим зорям,
Актер и рабочий, вам нельзя отдохнуть!

1920

274

Люблю под сводами седая тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин, ему же все должны, —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостных седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирий,
Смиренник царственный: снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги нового завета.

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

1921

Опять войны разногласица
 На древних плоскогорьях мира,
 И лопастью пропеллер лоснится,
 Как кость точеная тапира.
 Крыла и смерти уравниения
 С алгебраических пирушек
 Слетев, он помнит измерение
 Других эбеновых игрушек,
 Врагину-ночь, рассадник вражеский
 Существ коротких, ластоногих,
 И молодую силу тяжести:
 Так начиналась власть немногих.

Итак, готовьтесь жить во времени,
 Где нет ни волка, ни тапира,
 А небо будущим беременно —
 Пшеницей сытого эфира.
 А то сегодня победители
 Кладбище лёта обходили,
 Ломали крылья стрекозиные
 И молоточками казнили.

Давайте слушать грома проповедь,
 Как внуки Себастьяна Баха,
 И на востоке и на западе
 Органные поставим крылья.
 Давайте бросим бури яблоко
 На стол пирующим землянам
 И на стеклянном блюде облако
 Поставим яств посередине.
 Давайте всё покроем заново
 Камчатной скатертью пространства,
 Переговариваясь, радуясь,
 Друг другу подавая брашна.

На круговом, на мирном судьбище
 Зарею кровь оледенится;
 В беременном глубоком будущем
 Жужжит большая медуница.
 А вам, в безвременьи летающим,

Под хлыст войны, за власть немногих, —
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластиногих!
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.

Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,
Как чешуя, многоочитое,
И альфа, и омега бури, —
Тебе — чужое и безбровое —
Из поколенья в поколенья
Всегда высокое и новое
Передается удивленье.

1923

**ИЗ СТИХОТВОРНЫХ
ПЕРЕВОДОВ**

Старофранцузский эпос

276. СЫНОВЬЯ АЙМОНА

Пришли четыре брата, несхожие лицом,
В большой дворец-скворешник с высоким потолком.
Так сухи и поджары, что ворон им каркнет «брысь».
От удивленья брови у дамы поднялись.
«Вы, господа бароны, рыцари-друзья,
Из кающейся братьи, предполагаю я.
Возьмите что хотите из наших кладовых —
Из мяса или рыбы, иль платьев шерстяных.
На радостях устрою для вас большой прием:
Мы милостыню богу, не людям подаем.
Да хранит он детей моих от капканов и ям,
В феврале будет десять лет, как я томлюсь по сыновьям».
— «Как это могло случиться?» — сказал Ричард
с крутым лбом.
— «Я сама не знаю, сударь, как я затмилась умом.
Я отправила их в Париж, где льется вежливая молвь.
Им обрадовался Карл, почуяв рыцарскую кровь.
Королевский племянник сам по себе хорош,
Но бледнеет от злости, когда хвалят молодежь.
Должно быть, просто зависть к нему закралась в грудь.
Затеял с ними в шахматы нечистую игру.
Они погорячились, и беда стряслась, —
Учили его, учили, пока не умер князь.
Потом коней пришпорили и скрылись в зеленях,
И с ними семьсот рыцарей, что толпились в сенях.
Спаслись через Меузу в Арденнской земле,
Выстроили замок, укрепленный на скале.

На все четыре стороны их выгнал из Франции Карл,
Аймон от них отрекся, сам себя обкорнал.
Он поклялся так твердо, как алмаз режет стекло,
Что у него останется одно ремесло:
Пока дням его жизни господь позволит течь,
Четырем негодяям головы отсечь».
Когда Рено услышал, он вздрогнул и поник,
Княгиня прикусила свой розовый язык,
И вся в лицо ей бросилась, как муравейник, кровь.
Княгиня слышит крови старинный переплеск,
Лицо Рено меняется. Как растопленный воск —
Тавро, что им получено в потешный турнир,
Ребьяческая метка от молодых рапир.
У матери от радости в боку колотье:
«Ты — Рено, если не обманывает меня чутье.
Заклинаю тебя испушителем по числу гвоздильных
ран,
Если ты — Рено, не скрывай от меня иль продлить
дай обман».
Когда Рено услышал, он стал совсем горбат.
Княгиня его узнала от головы до пят,
Узнала его голос, как пенье соловья,
И остальные трое с ним — тоже сыновья.
Ждут, словно три березки, чтоб ветер поднялся.
Она заговорила, забормотала вся:
«Дети, вы обнищали, до рубища дошли,
Вряд ли у вас есть слуги, чтоб вам помогли».
— «У нас четыре друга, горячие в делах,
Все в яблоках железных, на четырех ногах».
Княгиня понимает по своему чутью
И зовет к себе конюха — мальчика Илью:
«Там стреножена лошадь Рено и три других,
Поставьте их в конюшнях, светлых и больших,
И дайте им отборных овсов золотых!»
Илья почуял лошадь, кубарем летит,
Мигом срезал лестницы зеленый малахит.
Не жалеет горла, как в трúbле Роланд,
И кричит баронам маленький горлан:
«Делать вам тут нечего, бароны, вчетвером,
Для ваших лошадей у нас найдется корм».
Как ласковая лайка на слепых щенят,
Глядит княгиня Айя на четырех княжат.

Хрустит душистый рябчик и голубиный хрящ —
Рвут крылышки на части так, что трещит в ушах;
Пьют мед дремучих пасек, и яблочный кларет,
И темное густое вино — ублюдок старых лет.
Тем временем Аймона надвинулась гроза,
И стянутых ремнями борзых ведут назад,
Прокушенных оленей на кухню снесли
И слезящихся лосей в крови и пыли.
Гремя дубовой палкой, Аймон вернулся в дом
И видит у себя своих детей за столом.
Плоть нищих золотится, как золото святых,
Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих.
Каленые орехи не так смуглы на вид,
Сукно, как паутина, на плечах у них висит,
Где пятнышко, где родинка — мерещит и сквозит.

1922

Жан Расин

277. НАЧАЛО «ФЕДРЫ»

«Решенье принято, час перемены пробил,
Узор Трезенских стен всегда меня коробил,
В смертельной праздности, на медленном огне,
Я до корней волос краснею в тишине, —
Шесть месяцев терплю отцовское безвестье,
И дальше для меня тревога и бесчестье —
Не знать урочища, где он окончил путь».

— «Куда же, государь, намерены взглянуть?
Я первый поспешил унять ваш страх законный
И переплыл залив, Коринфом рассеченный.
Тезея требовал у жителей холмов,
Где глохнет Ахерон в жилище мертвецов.
Эвлиду посетил, не мешкал на Тенаре,
Мне рассказала зыбь о рухнувшем Икаре.
Надежды ль новой луч укажет вам тропы
В блаженный край, куда направил он стопы?
Быть может, государь свое решенье взвесил
И с умыслом уход свой тайной занавесил,

И между тем как мы следим его побег,
Сей хладнокровный муж, искатель новых нег,
Ждет лишь любовницы, что, тая и робея...»

— «Довольно, Терамен, не оскорбляй Тезея...»

1922

Огюст Барбье

278. СОБАЧЬЯ СКЛОКА

1

Когда тяжелый зной гранил большие плиты
На гулких набережных здесь,
Набатом вспаханный и пулями изрытый
Изрешечен был воздух весь;
Когда Париж кругом, как море роковое,
Народной яростью серчал
И на покашливанье старых пушек злое
Марсельской песней отвечал,
Там не маячила, как в нашем современьи,
Мундиров золотых орда, —
То было в рубище мужских сердец биенье,
И пальцы грязные тогда
Держали карабин тяжелый и граненый,
А руганью набитый рот
Сквозь зубы черные кричал, жуя патроны:
«Умрем, сограждане! Вперед!»

2

А вы, в льняном белье, с трехцветкою в петлице,
В корсет затянутые львы,
Женоподобные, изнеженные лица,
Бульварные герои, вы, —
Где были вы в картечь, где вы скрывались молча
В дни страшных сабельных потерь,
Когда великий сброд и с ним святая сволочь
В бессмертье взламывали дверь?

Когда Париж кругом давился чудесами,
В трусливой подлости своей
Вы, как могли, тогда завесили коврами
Страх ваших розовых ушей. . .

8

Свобода — это вам не хрупкая графиня,
Жеманница из Сен-Жермен,
С черненной бровкою и ротиком в кармине
И томной слабостью колен, —
Нет, это женщина грудастая, большая,
Чей голос груб и страсть сильна,
Она смугла лицом, и, бедрами качая,
Проходит площадью она.
Ей нравится народ могучий и крикливый,
И барабанный перекат,
Пороховой дымок и дальние наплывы,
Колоколов густой набат.
Ее любовники — простонародной масти,
И чресла сильные свои
Для сильных бережет и не боится власти
Рук, не отмытых от крови.

4

То дева бурная, бастильская касатка
И независимость сама,
Чья роковая статья и твердая повадка
В пять лет народ свела с ума.
А после, охладев к девическим романам,
Фригийский растоптав колпак,
С двадцатилетним вдруг бежала капитаном
Под звуки труб в военный мрак.
И великаншею — не хрупкою фигуркой —
С трехцветным поясом встает
Перед облупленной расстрелом штукатуркой,
Нам утешенье подает,
Из рук временщика высокую корону
В три дня французам возвратит,
Раздавит армию и, угрожая трону,
Булыжной кучей шевелит.

Но стыд тебе, Париж, прекрасный и гневливый!
 Еще вчера, величья полн,
 Ты помнишь ли, Париж, как, мститель справедливый,
 Ты выкорчевывал престол?
 Торжественный Париж, ты ныне обесчещен,
 О город пышных похорон,
 Разрытых мостовых, вдоль стен глубоких трещин,
 Людских останков и знамен.
 Прабабка городов, лавровая столица,
 Народами окружена,
 Чье имя на устах у всех племен святится,
 Затмив другие имена,
 Отныне ты, Париж, — презренная клоака,
 Ты — свалка гнусных нечистот,
 Где маслянистая приправа грязи всякой
 Ручьями черными течет.
 Ты — сброд бездельников и шалопаев чинных,
 И трусов с головы до ног,
 Что ходят по домам и в розовых гостиных
 Выклянчивают орденюк.
 Ты — рынок крючников, где мечут подлый жребий —
 Кому падет какая часть
 Священной кровию напитанных отребий
 Того, что раньше было власть.

Вот так же, уязвлен и выбит из берлоги,
 Кабан, почуя смерти вкус,
 На землю валится, раскидывая ноги, —
 В затылок солнечный укус,
 И с пеною у рта, и высунув наружу
 Язык, рвет крепкие силки,
 И склоку трубит рог, и перед сворой дюжей
 «Возьми его!» — кричат стрелки.
 Вся свора, дергаясь и ерзая боками,
 Рванется. Каждый кобелек
 Визжит от радости и ляскает зубами,
 Почуяв лакомый кусок.

И там пойдет грызня и перекаты лая
 С холма на холм, с холма на холм.
 Ишейки, лягаши и доги, заливаясь,
 Трясутся: воздух псарней полн.
 Когда кабан упал с предсмертной икотой, —
 Вперед! Теперь царюют псы.
 Вознаградим себя за трудную работу
 Клыков и борзые часы.
 Над нами хлыст умолк. Нас грозный псарь
не дразнит,
 По нашу душу не свистит,
 Так пей парную кровь, ешь мясо — это праздник!

 И, как охочая к труду мастеровщина,
 Налягут все на теплый бок,
 Когтями мясо рвут, хрустит в зубах щетина, —
 Отдельный нужен всем кусок.
 То право конуры, закон собачьей чести:
 Тащи домой наверняка,
 Где ждет ревнивая, с отянутою шерстью
 Гордичка-сука муженька,
 Чтоб он ей показал, как должно семьянину,
 Дымящуюся кость в зубах
 И крикнул: «Это власть! — бросая мертвечину. —
 Вот наша часть в великих днях. . .»

1923

279. НАПОЛЕОНОВСКАЯ ФРАНЦИЯ

О корсиканский зверь с прямыми волосами,
 Ты помнишь мессидора ясь:
 Без бронзовой узды с золотыми удилами
 Кобылой Франция неслась.
 Кобыла дикая трясла мужицким крупом,
 Дымилась кровью королей,
 По древним овидям топча тяжелоступом
 Освобожденный грунт полей.
 Ах, к ней еще никто не подходил, зевая,
 Чтоб оскорбить иль чтобы смять,

И сбруи чужака она еще не знает,
И на седло не ей пенять.
Всей кожей лоснилась высокая дикарка.
Взгляд прям. Дрожит могучий круп.
И вдруг на целый мир весенним ржаньем гаркнет,
Как тысяча веселых труб!
Явился ты, взглянул на сильных ног затей
И на крутую стать боков,
Вцепился в гриву ей, кентавр с короткой шеей,
И смял движеньем каблуков.
И зная, что она любила ружей шорох,
Дымок и барабанов дробь,
Ты выпустил ее скакать в земных просторах,
Ей показал сраженья лоб!
Всегда на воздухе, встречая ветер хлесткий,
Всегда в бою, всегда как вихрь,
Хрустя убитыми, как гравием приморским,
По щиколотку в их крови, —
Пятнадцать лет она под черствою эгидой
Топтала нежный луг племен,
Пятнадцать лет топтал битюг по праву ига
Народных прав зеленый сонм.
И наконец, устав по рытвинам, бурьянам
Мотаться крупной головой,
Громить вселенную, вздымая пыль воланом,
И будоражить род людской,
И вся в испарине — до темного румянца —
Как бы осечкою колен,
Споткнулась, — и сдалась на милость корсиканца.
Но ты, палац, без перемен!
Строгая ей бока, ломая позвоночник,
Ты взвил струной свою рабу
И бешеной узды холодной цепочкой
Рванул ей нежную губу;
И в поле, где война цветет, как море гречи,
Стальной огрызок теребя,
Она, как на ковер, упала на картечи,
На ребра положив тебя.

1923

280. ЭТО ЗЫБЬ

Это зыбь, это зыбь — спокойная моряна,
Вскипающая перед зарей,
Поющая с утра, как юная Светлана,
Любовь и русый волос свой.
Зыбь, льнущая к пескам, пространства орошая
Душистой выжимкою вод,
На горле выпуклом разнеженно качая
Гребцов коричневый народ.
Потом другая зыбь из этой светлой спячки
Выходит для свирепых буч,
Раздутым теменем большеголовой качки
Колотит крышу низких туч.
Потом мычащею и скачущей пучиной
В квадрате молнийных зрачков
Бежит соленою, бугристою равниной
Размахом тысячи голов.
И, выбелив себя до взбитой гневом пены,
Блуждает, влажный рот кривит,
Царапает песок береговой арены,
Как умирающий хрипит.
И, корибанткою, вконец перебесившись,
Вдавнив бедро в намет песков,
Кидает с кровью нам, обратно в ил свалившись,
Горсть человеческих голов.

1923

281. ДЖИН

Сумрачный гений, бог наших веселий,
Сын можжевельника, брат пивного хмеля,
Северный Вакх, отравитель хижин,
Этим гимном, джин, ты не будешь обижен.
Гимн хрипоты, царапаний и стуков,
Который слагается из крючковатых звуков, —
Это демон, покровитель водки,
Плюнул в праздник из железной глотки.
Столкновенье жбанов за дубовыми столами,
Как будто сто кентавров столкнулись вместе лбами,
И, слушая буйные пьяниц голоса,
Шелестели ужасом толстые леса.

Бог городов, тебе жизнь человека,
Его день, его ночь принадлежат от века,
Гавань, скверы, ночные фонари,
Темные предместья и глухие пустыри. . .
Джин, джин, мальчик, лей в стакан
Золотое солнце, оранжевый туман.
К черту портвейна тоненькие рюмки,
Выдумали шерри и мадеру недоумки,
Старенькую Англию хотели опить.
Нам в дворцах собачьих так нельзя платить.
И потом, после джина вино — это пресно.
Вино хорошо для немощи телесной,
Для слабых и робких хорошо иногда,
В сравнении с джином вино — вода.
Да здравствует джин и мрачный стол таверны,
Тусклая гостиница и потолок неверный!
Эй, безумье, колоти горшки!
Где ты, смерть? Поливай черепки!
Смерть дикий грохот, увы, услышала
И добросовестно на работу встала,
И сильную руку кладет, как таран,
У дверей подвальчика на плечо англичан.
Даже тиф и язва моровая
Так не преследуют нищего бугая,
Даже лихорадка, вливая в уши звон,
Бедняку наносит меньший урон:
Желтеет, как пемза — канареечный камень,
Из потухших глаз вглубь убегает пламень,
А потом глупеет, как болван глядит,
Разве только ноги исправно волочит.
И на первом углу, на мосту, на аллее
Падает, как лошадь под залпом батарей,
И, как деревянный, не сгибая ног,
Падает на камень, на асфальт, на песок.
Один, забравшись в парк, как только свечерело,
К толстому дереву подвешивает тело,
Другой, соблазнившись высотой моста,
Падает в воду, где глубь и чернота.
Всюду смерть, качаясь, куролесит.
Всюду джин людское тесто месит.

282. МЯТЕЖ

Как будто ураган верхи дерев нагнул,
Летит предместьями глухой и низкий гул:
Дверные молотки бьют в бронзовые доски,
Страх бьет без промаху. И женщин, и детей
Простоволосый плач до старческих ушей
Добрался. Все дрожат. Еще одна минута —
И каждый добежит до своего закута.
Попрятались, и вдруг колючая метла
Весь многолюдный сор на улицу смела.
Тогда мятеж, мятеж на каблуках дерзання
Народный гонит вал, в ладоши бьет восстанье.
В щетине криков весь, сам тысяча голов,
Сверяет мощь своих набухнувших рядов
И набережных вдоль, на каменной постели
Кричит, как женщина, тяжелая от хмеля.

1923

283. 1793

Когда корабль столетний государства
Устал греметь горохом недовольства,
Открытый всем, как решето дырявый,
В кромешный мрак, в барашковое море —
Террора ветер в парусах раздутых —
Он наудачу вышел за свободой.

И со своих гранитных побережий
Следили жадно короли Европы
За оползаньем медленным империй.
Как будто горбоносые пираты,
Как чайки трупоядные, монархи
Наметили плавучий гроб французов.

А он, худой, гигант с прозрачной кожей,
На удивленье выпрямился килем,
Народ героев нанизал на реи,
Поднес фитиль к давно оглохшим пушкам
И выстрелил четырнадцатью армий —
И в берега свои вошла Европа!

О мрачный год, о девяносто третий,
Большая тень в крови и темных лаврах,
Не поднимайся с сумрачного ложа:
Тебе нельзя глядеть на наши войны,
В семье отцов мы — жалкие пигмеи,
Ты посмеешься нашей тощей битве.

Твое старинное погасло пламя,
Кулак разжался, и душа заглохла, —
Нет к побежденным мужественной ласки,
А если в сердце иногда проснется
Запальчивость — короткое дыхание —
Не более чем на три дня хватает.

1923

284. БРОНЗА

Дай угля, кочегар, дай порошок сыпучий —
Свинца и олова на сплав!
Мешай свинец и медь лопатой могучей,
Старик Вулкан, к огню прибавь!

Ты должен печь кормить: она проголодалась!
Ведь, чтоб ощерилась она,
Чтоб хрустнул на зубах у ней кусок металла —
Она дворцом пылать должна.

И вырвался огонь, растрепанный, огромный:
В нем крови цвет и местн вкус,
Он спрыгнул с купола и заметался в домне —
И сбоку тлеет каждый брус.

Всё это лишь толчки и бредовые вспышки,
Когда свинец ползет на медь,
Улитки корчатся и плаваются кубышки —
Что грешникам в котле кипеть!

Но кончено. Огонь улегся понемногу,
Дымком курясь, потухла печь,
И бронза в ключ кипит. Дай вареву дорогу,
Высокомерной дай истечь.

О, царственный поток, урча и забавляясь,
Одним прыжком, одним броском
Из ложа своего взыграй наверх, как лава,
Как речка, ринься напролом!

И перед лавою земля раскрылась грозной:
Налей в нее свой гневный сплав.
В воронку темную вошла рабыней бронза,
Владыкою из формы встав!

1923

285. ИРЛАНДСКИЕ ХОЛМЫ

Тот день, что оторвал меня от берегов,
День расставания с землею стариков,
С холмами нежного цветущего Эрина,
Моим несчастным днем я называть готов!
А там медовый дух, там рокот соловьиный,
Там камни мшистые, тропинки и ручьи,
Водою, как плющом, повитые утесы,
И крупную слезой дрожат на ветках росы.
О, родина моя, о, край моей любви!
И всё же, согнаны на палубу гурьбой,
Мы, рвань и голытьба, смиряя в сердце ярость,
Мужчины, женщины и дети, скот людской,
Отплыть ждали здесь, пока крепили парус.
Нас голода червяк средь тучных нив грызет.
Как туча, нищета над нами разразилась.
Нам безобразные лохмотья подает
Богатой Англии изнеженная милость.
Но почему другим снимать разрешено
Наш кровный урожай, как только он созреет,
И нами в озере омытое руно
Изысканным сукном чужие плечи греет?
Зачем не можем мы в домашней тишине,
Как дети равные, одной питаться грудью?
Кто маленьких людей, по сумрачной волне,
По океанскому заставил плыть безлюдью?
Он дует уж давно, тот ветер роковой,
Что нашу голову от родины отводит,
И так устроено враждебно судьбой,

Что по родной земле гроза и ветер бродят,
Гроза и ненависть. Когда позволим мы
По-прежнему давить наш берег благородный,
То могут нежные ирландские холмы
Со всюю зеленую спуститься в мир подводный!
Но весело стадам огромный луг топтать,
Где ярко клевера трилистник зеленеет;
И птицам весело на ветках распевать,
Когда прохлагою в густом лесу повеет;
И ветру хорошо листьями бормотать,
И пахнет сладостно от скошенного сена,
И хорошо щавель и мяту собирать,
К ручьям Ирландии склонить свои колена...

1923

Франческо Петрарка

286

Valle che de' lamenti
miei se' piena...¹

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы;
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;

Дол, полный клятв и шепотов каленых;
Тропинок промуравленных изгибы;
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:

Незыблемое зыблется на месте.
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ищу следов красоты и чести,
Исчезнувшей, как сокол, после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Ноябрь 1933 — январь 1934

¹ Должна, что стенаний моих полна... (итал.). — *Ред.*

Quel rosignuol che si soave
piagne...¹

Как соловей сиротствующий славит
Своих пернатых близких, ночью синей,
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине, —

И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он один, отныне, —
Меня, меня: силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини...

О, радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха.

Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

Ноябрь 1933 — январь 1934

Or che 'l ciel e la terra
e 'l vento tace...²

Когда уснет земля и жар отпышет
И на душе зверей покой лебяжий:
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет.

Чую, горю, рвусь, плачу — и не слышит
В неудержимой близости, всё та же,
Целую ночь, целую ночь на страже!
И вся как есть далеким счастьем дышит.

¹ Тот соловей, что так нежно плачет... (итал.). — *Ред.*

² Теперь, когда небо и земля и ветер молчат... (итал.). — *Ред.*

Хоть ключ один — вода разноречива:
Полужестка, полусладка. Ужели
Одна и та же милая двулична?

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресая так же сверхобычно.

Декабрь 1933

289

I di miei più leggier che nessun
cervo...¹

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.

О семицветный мир лживых явлений, —
Печаль жирна, и умиранье наго!
А еще тянет та, к которой тяга,
Чьи струны сухожилий тлеют в тлене.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря:
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

Январь 1934

¹ Дни мои легче оленя... (итал.). — *Ред.*

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни О. Мандельштама было издано шесть сборников его стихов.¹ В первый сборник — «Камень» (изд-во «Акмэ», СПб., 1913) — вошло всего 23 стихотворения 1908—1913 гг. (сборник вышел в апреле 1913 г.). В декабре 1915 г. под тем же названием в изд-ве «Гиперборей» вышел сборник (на титульном листе: Пг., 1916), в состав которого, кроме перепечатанной почти полностью первой книги было включено еще 44 стихотворения 1908—1915 гг.² Третьим изданием «Камень» вышел в 1923 г. в Государственном издательстве. В отличие от предшествующего издания, в сборнике 1923 г. отсутствуют даты. Это позволило автору внести в композицию книги некоторые изменения и отчасти нарушить хронологический порядок, поместив наряду с произведениями дореволюционного периода два стихотворения 1917 г., одно — 1918 г., одно — 1922 г. и два перевода, относящиеся к 1922 г. В начале 1922 г. в Берлине (изд-во «Petropolis») вышел сборник «Tristia», содержащий 45 стихотворений 1916—1920 гг. Хронологический принцип здесь также был нарушен включением ряда произведений, написанных до 1916 г. и поэтому в сборнике не датированных.³ В дальнейшем 28 стихотворений, помещенных в «Tristia», вошли в сборник «Вторая книга», изданный в Москве в 1923 г. (изд-во «Круг»). «Вторая книга» содержит 43 стихотворения, относящиеся к 1916—1922 гг. Наконец, в мае 1928 г. в Государственном издательстве вышел последний сборник Мандельштама — «Стихотворения», задуманный как более или менее полное собрание всего написанного поэтом. Книга состоит из трех разделов: «Камень», «Tristia» и «1921—1925». Состав первого и второго разделов, в значительной степени совпадая с од-

¹ Не считая отдельно изданных стихов для детей: 1. «Примус», Л., 1925 (с рис. М. Добужинского); 2. «Два трамвая», Л., 1925 (с рис. Б. Эндера); 3. «Кухня», Л., 1926 (с рис. В. Изенбера); 4. «Шары», Л., 1926 (с рис. Н. Лапина).

² В дневнике С. П. Каблукова есть запись (от 30 декабря 1915 г.) о том, что второй сборник «Камень» издан самим поэтом. «...Собрание вышло не довольно полным, до 27 стихотворений... не включены автором отчасти по мнительности, отчасти по капризу» (Рукописное отд. Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

³ Этот сборник Мандельштам первоначально предполагал озаглавить «Новый камень». Заглавие «Tristia», восходящее к книге элегий Овидия, было дано по предложению поэта М. А. Кузмина.

ноименными сборниками и со «Второй книгой», вместе с тем отличается от них и количеством включенного материала, и порядком его расположения. Сборник построен в основном по хронологическому принципу, однако в пределах каждого года стихотворения размещены не в строго хронологической последовательности.

Этот сборник и положен в основу настоящего издания. Стихотворение «Собирались эллины войною...» (1916) в сборнике 1928 г. ошибочно помещено в разделе «Камень», среди произведений 1914 г. В тот же раздел попали два стихотворения «Пусть имена цветущих городов...» и «Природа — тот же Рим и отразилась в нем...», которые, как удалось установить, были написаны в конце 1917 г.¹ В настоящем издании эти стихотворения перенесены в раздел «Tristia». Раздел «Стихи 1921—1925 гг.» дополнен стихотворением «Жизнь упала, как зарница...» (1925), которое, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, было включено в этот раздел самим поэтом при подготовке нового собрания произведений в 1931 г.² После сборника 1928 г. следуют избранные стихотворения последнего периода (заглавие «Стихи 1930—1937 гг.» принадлежит Мандельштаму). Все стихи этого раздела Мандельштам предполагал включить в основное собрание своих произведений. В соответствии с замыслом автора они расположены в хронологической последовательности.³

В следующем разделе книги объединены избранные стихотворения (преимущественно 1908—1917 гг.), не вошедшие в основное собрание.

Заключительный раздел составляют избранные стихотворные переводы.

В последний прижизненный сборник Мандельштама вкралось много текстуальных и пунктуационных ошибок, зачастую искажающих смысл. В некоторых стихах нарушен ритм, исчезла рифма. Есть опечатки и текстуальные искажения и в сборниках «Tristia» и «Вторая книга» (корректуры этих книг Мандельштам не держал).

В настоящем издании стихотворения, опубликованные при жизни Мандельштама, воспроизводятся по печатным публикациям, сверенным с сохранившимися автографами и авторизованными списками.

Основной фонд рукописей Мандельштама находится в архиве поэта, хранящемся у Н. Я. Мандельштам.⁴ Некоторое количество

¹ Сохранилась запись Мандельштама (вероятно, 1935 г.), уточняющая датировку некоторых стихотворений, вошедших в сборник 1928 г. Против заглавия стих. «Пусть имена цветущих городов...» (включенного в сборник недатированным) дата отсутствует.

² В начале 1931 г. Мандельштам вел переговоры с Гос. издательством об издании нового собрания произведений, в которое предполагал включить и ряд статей — «прямые высказывания по литературе», тесно связанные с его поэтической практикой.

³ В последние годы в ряде периодических изданий появились публикации стихотворений Мандельштама 1930—1937 гг., основанные на дефектных списках и содержащие грубые искажения текста.

⁴ Автографы и авторизованные списки, местонахождение которых в примечаниях не указано, находятся в этом архиве.

автографов и авторизованных списков хранится в государственных архивах (Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР, Центральном государственном архиве литературы и искусства и др.) и в частных собраниях. Сохранилось, в частности, авторское «рукописное издание» — тетрадь, озаглавленная: «О. Мандельштам. Последние стихи. Петербург, 1921». На тетради помета: «Эта книга переписана автором в количестве пяти пронумерованных и снабженных подписью экземпляров: Экземпляр № 1. О. Мандельштам» (собрание Н. Л. Шенгели).¹ В тетрадь вошло 8 стихотворений 1920 г.

Наиболее существенные исправления, внесенные в текст в настоящем издании, отмечены в примечаниях. В текстах стихотворений, вошедших в сборник 1928 г., учтены поправки, внесенные Мандельштамом в 1935—1937 гг. в два авторских экземпляра этого издания (эти поправки оговорены в соответствующих местах в примечаниях). Два стихотворения: «Ни триумфа, ни войны!..» и «Есть ценностей незыблемая скала..» в обоих экземплярах сборника зачеркнуты поэтом и, таким образом, исключены из основного собрания.

Некоторые стихотворения Мандельштама, появившиеся впервые в журнале, альманахе, газете или в одном из авторских сборников, затем неоднократно перепечатывались (с изменениями или в первоначальном виде), а иногда публиковались почти одновременно в различных изданиях. Особенно характерны такого рода перепечатки для произведений Мандельштама конца 1910-х — начала 1920-х годов. Сведения об этих публикациях, рассеянных часто в малоизвестных и труднонаходимых провинциальных периодических изданиях и литературных сборниках, представляют интерес ввиду недостаточной разработанности библиографии за данный период. Поэтому в примечаниях кроме первой публикации стихотворения указываются также те его перепечатки, которые удалось установить (последующие авторские сборники отмечаются лишь в том случае, если в текст внесены какие-либо изменения). Ссылка на первую публикацию без указания на другие источники текста означает, что стихотворение в дальнейшем не подвергалось переработке. Библиографические ссылки, следующие после ссылки на первую публикацию без пометы «перепеч.» (перепечатка), указывают ступени изменения текста. Место издания указывается только для провинциальных и иностранных газет, журналов и альманахов.

Большинство стихотворений датировано самим поэтом. Даты в печатных публикациях проверены по сохранившимся датированным автографам и авторизованным спискам, что позволило внести ряд хронологических уточнений (изменения и уточнения датировки оговариваются в примечаниях). Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. Длительность работы над произведением обозначается двойной датой (через тире). Две даты (через запятую) обозначают время создания различных редакций данного стихотворения.

¹ О рукописных изданиях поэтических сборников (в том числе и об этом) см: «Среди коллекционеров», 1921, № 4 (июнь), с. 34.

Условные сокращения, принятые в примечаниях:

ВК — сборник «Вторая книга» (1923).

ГПБ — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

К1 — сборник «Камень» (1913).

К2 — сборник «Камень» (1916).

К3 — сборник «Камень» (1923).

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Рукописный отдел.

ПС — «Последние стихи», 1921. Рукописная тетрадь.

С — сборник «Стихотворения» (1928).

Т — сборник «Tristia» (1922).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

СТИХОТВОРЕНИЯ

КАМЕНЬ

(1908 — 1915)

1. К2, с. 5. Поэтическая деятельность Мандельштама началась в 1907—1908 гг. В письме к матери из Парижа от 20 апреля 1908 г. семнадцатилетний поэт упоминает о своих первых опытах: «Была ты, значит, у В. В. Это хорошо... Любопытно, что он скажет. Надеюсь об этом скоро узнать. Сейчас у меня настоящая весна, в самом полном значении этого слова. Период ожиданий и „стихотворной горячки“». Упоминаемый в письме В. В. — Владимир Васильевич Гиппиус (1876—1941) — поэт-символист и преподаватель русской литературы в Тенишевском училище, где учился Мандельштам. В письме к самому В. В. Гиппиусу (из Парижа, от 27 апреля 1908 г.) Мандельштам сообщает о своих литературных интересах: «...Вам будет понятно мое увлечение музыкой жизни, которую я нашел у некоторых французских поэтов, и Брюсовым из русских. В последнем меня пленила гениальная смелость отрицания... Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки. Кроме Верлена, я написал о Роденбахе и Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне. Затем немного прозы и стихов. Лето я собираюсь провести в Италии, а вернувшись, поступить в университет и систематически изучать литературу и философию» (ПД). В 1909 г. стихотворные опыты Мандельштама получили одобрительную оценку Вячеслава Иванова и Иннокентия Анненского, оказавших на него сильное воздействие. 20 июня 1909 г. Мандельштам писал В. Иванову из Царского Села: «...Ваши семена глубоко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные ростки... Почти испорченный Вами, но... исправленный Осип Мандельштам» (Рукоп. отд. Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина). 7 февраля 1916 г. друг Мандельштама С. П. Каблуков (библиофил и любитель искусств) записал в своем дневнике: «Встреча с Мандельштамом, вер-

нувшимися из Москвы после свидания с В. Ивановым, признавшим его „Камень“» (ГПБ). 30 августа 1909 г. в письме (из Швейцарии) о переданных им редакции «Аполлона» стихах Мандельштам подчеркнул свое «глубокое почтение» к Анненскому (ЦГАЛИ). С. П. Каблуков отметил в своем дневнике (18 августа 1910 г.) суждения Мандельштама «об Анненском и Малларме как о великих поэтах». В 1911 г. состоялось знакомство Мандельштама с Блоком. Впервые Блок упоминает о нем в письме к Андрею Белому от 6 июня 1911 г., противопоставляя Мандельштама второстепенным поэтам — эпигонам символизма (Собр. соч., т. 8, 1963, с. 344). 21 апреля 1912 г. Блок и Мандельштам читали свои произведения на вечере в Петровском училище (см. в неопубликованном письме Блока к В. Пясту от 22 апреля 1912 г., ЦГАЛИ). О своих встречах с Мандельштамом в 1911—1920 гг. Блок упоминает в дневниках и записных книжках.

2. К2, с. 6 (первая строфа). Печ. по КЗ, с. 4. *О, вещь моя печаль* — перефразировка стиха Тютчева «О вещь душа моя!». Поэзия Тютчева оказала сильное воздействие на Мандельштама. Сохранилось неопубликованное стихотворение, написанное, вероятно, в 1908 г., — своеобразная поэтическая декларация молодого Мандельштама:

В непринужденности творящего обмена
Суровость Тютчева с ребячеством Верлена,
Скажите, кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величие,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье.

Заглавие первого сборника стихотворений Мандельштама связано со стих. Тютчева «С горы скатившись, камень лег в долине...»: в статье «Утро акмензма», датируемой маем 1913 г. и связанной с выходом «Декларации слова как такового» А. Крученых (апрель 1913 г.), Мандельштам писал, что поднимает «тютчевский камень» и кладет его «в основу своего здания» («Сирена», Воронеж, 1919, № 4—5, с. 71). См. также его высказывание о «своеобразном „тютчевском“ приеме» — «облекать наиболее жалобные сетования в ритмически суровый ямб» («Гиперборей», 1912, № 3, с. 30). В статье «Буря и натиск» («Русское искусство», 1923, № 1, с. 79) Мандельштам называет Тютчева «Эсхилом русского ямбического стиха», а в книге «Шум времени» (1925) дает ему следующую характеристику: «...Тютчев источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья» (с. 57). Темы и образы, связанные со стихотворениями Тютчева, встречаются и в поздних произведениях Мандельштама.

3. Альм. «Ковчег», Феодосия, 1920, с. 12. *Но люблю мою бедную землю*. Ср. у Ф. Сологуба: «Я люблю мою темную землю...» («Собр. стихов (1897—1903)», М., 1904).

4. К2, с. 8. Авториз. список с датой. Положено на музыку А. Крейном.

5. «Альманахи стихов, выходящие в Петрограде», вып. 1, 1915, с. 24; К2. Печ. по К3, с. 7. Беловой автограф — ПД, архив М. В. Аверьянова.

6. К2, с. 10. *Лары и пенаты* (римск. миф.) — боги-покровители домашнего очага, семьи и жилища.

7. «Аполлон», 1910, № 9 (август), с. 6; К1, под загл. «Дыхание». Печ. по К2, с. 11. В том же номере «Аполлона» напечатаны еще четыре стихотворения Мандельштама; эта публикация была его литературным дебютом.

8. «Аполлон», 1910, № 9, с. 7; К1. Печ. по К2, с. 12.

9. К2, с. 14. Беловой автограф с пометой: «Heidelberg, декабрь 1909»; здесь после ст. 2:

Ибо, если смысла в жизни нет,
Говорить о жизни нам не след.

Я еще довольно сердцем дик.
Скучен мне понятный наш язык.

10. «Аполлон», 1911, № 5, с. 34, с четвертой строфой:

И вереница стройная уносится
С веселым трепетом, и вдруг
Одумалась и прямо в сердце просится
Стрела, описывая круг.

Печ. по С, с. 15. Беловой автограф первопечатного текста. 5 февраля 1911 г. С. П. Каблуков записал в дневнике: «Вчера О. Мандельштам сообщил мне, что шесть стихотворений приняты в «Аполлон» и уже получена им их корректура».

11. «Аполлон», 1910, № 9, с. 5. Печ. по К1, с. 4. Авториз. список.

12. «Аполлон», 1910, № 9, с. 7, без загл.; К1, под загл. «Silentium». Печ. по авт. экз. С, с. 17, с поправкой (в ст. 8), внесенной в 1935 г. Авториз. список первопечатного текста. Стих. перекликается со стих. Тютчева «Silentium!», но еще более связано с поэтическими декларациями символистов, в частности — со стих. Верлена «Art poétique» («De la musique avant toute chose...»). *Останься пеной, Афродита*. По греческому мифу, Афродита родилась из морской пены.

13. «Северные записки», 1913, № 9, с. 6. Здесь начиналось строфой:

Душа устала от усилий,
И многое мне всё равно.
Ночь белая, белее лилий,
Испуганно глядит в окно.

В К2 — без этой строфы и без строфы 1. Печ. по К3, с. 16. Авториз. список первопечатного текста. *И призрачна моя свобода* — перефразировка строки из стих. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...»: «Лишь в нашей призрачной свободе...» *Твой мир, болезненный и странный*. Ср. у Тютчева («О вещая душа моя!...»): «Твой день — болезненный и страстный...»

14. «Аполлон», 1911, № 5, с. 33; перепеч. — сб. «Русский Парнас», Лейпциг, 1920, с. 309. Печ. по С, с. 19. Первопечатный текст последней строфы:

И лодка, волнами шурша,
Как листьями, — уже далёко,
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

Авториз. список (с окончательным вариантом отброшенного ст. 11). Беловой автограф окончательной редакции — ГПБ.

15. «Аполлон», 1911, № 5, с. 33, с еще одной (заключительной) строфой:

Ни сладости в пытке не ведаю,
Ни смысла я в ней не ищу;
Но близкой, последней победою,
Быть может, за всё отомщу.

Печ. по С, с. 20. Беловой автограф окончательной редакции — ГПБ.

16. «Аполлон», 1911, № 5, с. 32. Авториз. список.

17. К2, с. 20.

18. «Литературный альманах» (изд. «Аполлона»), 1912, с. 40 (вышел в ноябре 1911).

19. К2, с. 22. Печ. по авт. экз. С, с. 24, с поправкой, датированной 28 августа 1935 г., и с исправлением опечатки («отсвет») по К2.

20. «Гиперборей», 1912, № 1 (октябрь), с. 21. По сообщению Л. Ю. Брик, это стих. «нравилось» Маяковскому (сб. «В. Маяковский в воспоминаниях современников», М., 1963, с. 352). См. также заметку Н. Харджиева «Марши Маяковского» (в кн. «Поэтическая культура Маяковского», М., 1970, с. 234). Анализ авторского произведения этого стих. см. в статье С. И. Бернштейна «Стих и декламация» (сб. «Русская речь», Л., 1927, вып. 1, с. 28, 32, 37).

21. К1, с. 5. Автограф с разночтениями.

22. «Гиперборей», 1912, № 1 (октябрь), с. 20. Печ. по К3, с. 23. *Аквилон* (римск. миф.) — северный или северо-восточный ветер. *Орфей* — см. примеч. к № 100.

23. К1, с. 7, без загл. Печ. по К2, с. 26.

24. Сб. «Пьяные вишни», 2-е изд., Севастополь, 1920, с. 7. Авториз. список с разночтениями и датой: 16.XI.1911.

25. «Северные записки», 1913, № 9, с. 6, как вторая строфа следующего стих.:

Качает ветер тоненькие прутья,
И крепнет голос проволоки медной,
И пятна снега — яркие лоскутья —
Всё, что осталось от тетрадки бедной.

.

Жемчужный почерк оказался ложью,
И кружева не нужен смысл узорный,
И только медь — непобедимой дрожью —
Пространство режет, нижет бисер черный.

Разве я знаю, отчего я плачу?
Я только петь и умирать умею.
Не мучь меня: я ничего не значу
И черный хаос в черных снах лелею.

В виде отдельного четверостишия — К2, с. 27. Авториз. список первопечатного текста с датой: 24 ноября 1911.

26. «Гиперборей», 1912, № 1 (октябрь), с. 22. Печ. по авт. экз. С, с. 30, с поправками в последней строфе, внесенными в 1937 г. Первоначальная редакция заключительной строфы:

Что, если, над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?

Беловой автограф первопечатного текста — ПД, архив М. В. Аверьянова.

27. К1, с. 15. В беловом автографе первоначальной редакции строфа 2:

Мстителем, камень, будь,
Кружевом острым стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!

Тематические и образные параллели — в статье Мандельштама «Утро акмеизма» (1913): «Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни —

злая, потому что весь ее смысл уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто» («Сирена», Воронеж, 1919, № 4—5, с. 71).

28. «Гиперборей», 1912, № 1 (октябрь), с. 21. Беловой автограф с датой: апрель 1912.

29. К1, с. 14. *А он ответил любопытным: «вечность».* Лишившийся рассудка поэт К. Н. Батюшков (1787—1855) спрашивал: «Который час?» — и сам себе отвечал: «Вечность».

30. К1, с. 13; К2, с посвящением М. Л. Лозинскому; К3, без загл. Печ. по С, с. 34, где текст совпадает с первопечатным, и с исправлением по К1: «листах» вместо «листвах».

31. «Гиперборей», 1912, № 3 (декабрь), с. 9, без загл. Печ. по К1, с. 16. Беловой автограф с датой: май 1912 — архив М. Л. Лозинского.

32. К1, с. 19. Беловой автограф.

33. «Гиперборей», 1913, № 5 (февраль), с. 23. Беловой автограф — архив М. Л. Лозинского.

34. «Аполлон», 1913, № 3, с. 37. Печ. по К3, с. 35. *Айя-София* — храм св. Софии в Константинополе (VI в.), после завоевания столицы Византии турками — мечеть. *Юстиниан* — византийский император, в царствование которого был выстроен храм св. Софии (532—537). *Эфесская Диана* — храм Дианы (Артемиды) в г. Эфесе, причисленный к «семи чудесам» древнего мира. По повелению Юстиниана колонны из храма Дианы Эфесской были поставлены в храме св. Софии. *Апсиды и экседры* — алтарные выступы в церковной архитектуре. *Паруса* — треугольные сферические своды (имеющие сходство с надутым парусом), на которые опирается кольцо купола; впервые были применены в храме св. Софии.

35. «Аполлон», 1913, № 3, с. 38. Беловой автограф — первоначальная редакция строфы I:

Ажурных галерей заманчивый пролет —
И, жилы вытянув и напрягая нервы,
Как некогда Адам, таинственный и первый,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Беловой автограф первопечатного текста. «Notre Dame» — декларация новой «архитектурной» тематики Мандельштама. О своем отношении к архитектуре поэт упоминает в очерке «Путешествие в Армению»: «... Демон (архитектуры)... сопровождал меня всю жизнь» («Звезда», 1933, № 5, с. 110). В статье «Утро акмеизма» (1913) Мандельштам писал: «То, что в XIII веке казалось логическим развитием понятия организма — готический собор — ныне эстетически дей-

ствуется как чудовищное — Notre Dame, есть праздник физиологии, ее дионисийский разум. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес... бесконечная сложность нашего темного организма» («Сирена», Воронеж, 1919, № 4—5, с. 71). В критике стих. «Notre Dame» было отмечено как своего рода поэтический манифест, прокламирующий новое отношение к стиховому слову (см., например, статью С. Городецкого «Музыка и архитектура в поэзии». — «Речь», 1913, 17 июня). *Notre Dame* — собор Парижской богородицы, знаменитый памятник готической архитектуры (XII—XIII вв.). *Где римский судья судил чужой народ*. Во времена римского владычества Галлии (Францией) управляли наместники.

36. «Гиперборей», 1913, № 9—10 (ноябрь-декабрь), с. 32; КЗ; С. (с ошибочной датой: 1913). Печ. по авт. экз. С, с. 52, с исправлением, внесенным 2 января 1937 г. Беловые автографы: 1) с датой: 1912 — ПД, архив М. В. Аверьянова, 2) архив М. Л. Лозинского. *Кошмарный человек читает «Улялюм»*. Имеется в виду друг Мандельштама, поэт В. Пяст, апологет «титанического творчества» (по его определению) Эдгара По. «Улялюм» — стих. Э. По. *Дом Эшеров*. Имеется в виду новелла Э. По «Падение дома Эшеров».

37. К1, с. 21. Печ. по авт. экз. С, с. 43, исправленному в 1937 г.; была вычеркнута предпоследняя строфа:

Так, соблюдая день субботний,
Плетется он, когда
Глядит из каждой подворотни
Веселая беда.

Написано в начале 1913 г. *Верлен П.* (1844—1896) — французский лирик. Внешность Верлена имела сходство с сохранившимися скульптурными изображениями древнегреческого философа *Сократа*. Жена Сократа была известна своей сварливостью.

38. «Гиперборей», 1913, № 5 (февраль), с. 21. Печ. по С, с. 45. Автограф дончатого текста с датой: январь 1913 — собрание А. Ивича. Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. Л. Ю. Брик упоминает это стих. в числе тех, которые знал наизусть Маяковский («Знамя», 1940, № 3, с. 182). *Правовед* — ученик Училища правоведения (привилегированного учебного заведения). *Сбитень* — горячий напиток, сваренный на меду с пряностями. *Евгений* — герой поэмы Пушкина «Медный всадник».

39. С, с. 47. Эпиграф, точным переводом которого является ст. 1, — слова германского церковного реформатора Мартина *Лютера* (1483—1546), произнесенные в ответ на предложение Wormского сейма отречься от «ереси» (1521). *Купол Петра*. Имеется в виду римский собор св. Петра, центр католицизма.

40. «Гиперборей», 1913, № 5 (февраль), с. 22, где начиналось строфой:

В душном баре иностранец,
Я нередко, в час глухой,
Уходя от тусклых пьяниц,
Становлюсь самым собой.

Печ. по К2, с. 48. Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. *Выстрел пушечный* — выстрел с Петропавловской крепости, возвещающий о наводнении.

41. «Гиперборей», 1913, № 9—10 (ноябрь-декабрь), с. 31. Беловой автограф — архив М. Л. Лозинского. Ср. тематические и образные параллели в статье Мандельштама «Утро акмеизма» (1913): «Мы полюбили музыку доказательства. Логическая связь — для нас не песенка о чижики, а симфония с органом и пением... Как убедительно музыка Баха! Какая мощь доказательства. Доказывать и доказывать без конца: принимать в искусстве что-нибудь на веру недостойно художника, легко и скучно» («Сирена», Воронеж, 1919, № 4—5, с. 71). *Ликуюшь, как Исайя*. «Исайя, ликуй» — церковное песнопение (*хорал*) при обряде бракосочетания.

42. «Рубикон», 1914, № 3 (14 февраля), с. 10, под загл. «Чайная». Печ. по К2, с. 51. Беловой автограф.

43. «Аполлон», 1914, № 10 (декабрь), с. 8. Беловой автограф с датой: май 1913; здесь строфы 3 и 4 следовали в обратном порядке и была след. заключительная строфа:

Живая линия меняется, как лебедь.
Я с музой зодчего беседую опять.
Взор оmyвается, стихает жизни трепет, —
Мне всё равно, когда и где существовать!

Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. *Адмиралтейство* — знаменитый архитектурный памятник Петербурга, здание, выстроенное по проекту А. Д. Захарова в 1815 г.

44. «Гиперборей», 1913, № 8 (октябрь), с. 24. Беловые автографы: 1) допечатной редакции, под загл. «Таверна»; 2) первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. *Химеры* — скульптурные изображения фантастических чудовищ на верхней балюстраде собора Парижской богородицы.

45. «Новый Сатирикон», 1914, № 22, с. 7. В стих. пародируется традиционный «авантюрно-великосветский» сюжет дореволюционной кинематографии. *Гитана* — цыганка.

46. «За 7 дней», 1913, № 20, с. 432. Печ. по «Новому Сатирикону», 1914, № 24, с. 3. В первой публикации три заключительные строфы:

Вижу мельницы, как встарь,
И гребцов на Темзе кроткой;
Завладел спортсмен-дикарь
Многовесельною лодкой.

Вижу стадо у воды;
Стерегут овец овчарки.
Без седла и без узды
Пущен конь на клевер яркий.

Это Англия цветет —
Остров мирный и веселый. . .
Здравствуй, тенниса полет,
Полотно и локоть голый!

Беловой автограф окончательной редакции. *Аттический* — древнегреческий. *Сирень бензином пахнет*. Ср. в стих. А. Ахматовой «Прогулка» (1913): «Бензина запах и сирени».

47. Сб. «Пьяные вишни», 2-е изд., Севастополь, 1920, с. 7. В архиве Ларисы Рейснер сохранились корректурные гранки этого стих. — для невышедшего № 9 журнала «Рудин», 1916 (Рукоп. отд. Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина). Урбанистический пейзаж и рифма «трубы — губы» связаны со стих. Маяковского «Кое-что про Петербург», напечатанным в начале 1913 г. «Титаник» — английский пароход, погибший в 1912 г. от столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. *Крипт*, или крипта — подземные ходы, служившие местом погребения (в ранние времена христианства). *Акрополь* — возвышенная и укрепленная часть древнегреческих городов; здесь — акрополь Афин, известный своими архитектурными памятниками. *Людювик* — имя многих французских королей.

48. «Новая жизнь», 1914, № 1, с. 17. Беловой автограф. *Иосиф* — по библейской легенде, младший сын патриарха Иакова, проданный братьями в рабство и уведенный в Египет.

49. «Новый Сатирикон», 1914, № 7 (13 февраля), с. 6. Датируется по беловому автографу. Написано в начале 1914 г. В К2 и С ошибочно датировано 1913 г. Заглавие и образы стих. связаны с романом Диккенса «Домби и сын». *Оливер Твист* — герой одноименного романа Диккенса; в стих. неточность: Оливер Твист «над кипами конторских книг» (он не был клерком).

50. К2, с. 62, с ошибочной датой: 1913. Датируется по беловому автографу, озаглавленному «Валькирии». *Валькирии* (сканд. миф.) — бессмертные девы-воительницы, дарующие победу и уносящие павших воинов в Валгаллу, загробное царство героев. *Громоздкая опера* — «Валькирия» (вторая часть музыкально-драматической тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов»).

51. С, с. 65. Отрывок из стих. «Приглашение на луну» (вторая редакция — под загл. «У меня на луне»). Беловой автограф и авто-

риз. список 1-й и 2-й редакций — собрание А. Ивича. «Приглашение на луну» (1914):

У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне, —
Вафли ежедневно.

.

Убежим на часок
От земли-злодейки!
На луне нет дорог
И везде скамейки,
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку...
На луне голубой
Я сварю вам жженку.

«У меня на луне» (написано, вероятно, в 1927 г.):

Это всё о луне только небылица, —
В этот вздор о луне верить не годится,
Это всё о луне только небылица.

.

На луне нет дорог
И везде скамейки,
Поливают песок
Из высокой лейки,
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.
У меня на луне
Голубые рыбы,
Но они на луне
Плывать не могли бы, —
Нет воды на луне
И летают рыбы!

Беловой автограф окончательной редакции — ГПБ.

52. «Гиперборей», 1913, № 9—10 (ноябрь — декабрь), с. 30, с посвящением Анне Ахматовой; К2 и К3 — под загл. «Ахматова». Печ. по С, с. 66. По сообщению А. А. Ахматовой, стих. написано в начале января 1914 г. (№ 9—10 «Гиперборей» вышел в феврале 1914 г.). Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. *Федра* — героиня одноименной трагедии французского драматурга Ж. Расина (1639—1699). *Рашель Элиза* (1821—1858) — французская трагическая актриса, знаменитая исполнительница роли Федры.

53. «Голос жизни», 1915, № 14, с. 10 (вместе со стих. «На площадь выбежав, свободен...» и «Посох», под общим загл. «Из цикла „Рим“»). 6 февраля 1915 г. С. П. Каблуков записал в дневнике: «Вчера был у Мережковских... Главная цель моего посещения — пристроить в „Голос жизни“, редактируемый Философовым, стихотворения О. Мандельштама. Гиппиус берет „Египтянина“, „В морозном воздухе...“, „Я не слышал рассказов Оссиана...“, „Неумолимые слова...“, „Посох мой...“, „Казанский собор“, „О временах простых и грубых...“. Последняя строфа стих. перекликается с заключительной строфой стихотворного послания Тютчева Н. Ф. Щербине («Вполне понятно мне значенье...»):

Так узник эллинский, порою
Забывшись сном среди степей,
Под скифской выюгой снеговою
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей.

Овидий — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.), римский поэт; был сослан императором Августом в г. Томы (берег Черного моря, близ устья Дуная).

54. «Голос жизни», 1915, № 14, с. 10, с подзаг. «Памяти Воронихина». Печ. по К3, с. 62. Написано в связи со столетием со дня смерти архитектора А. Н. Воронихина (1759—1814), строителя Казанского собора в Петербурге. 6 сентября 1914 г. С. П. Каблуков записал в дневнике: «Был О. Э. Мандельштам, прочитавший некоторые новые стихи: «Европа» (сентябрь 1914 г.), «Морожено», «Равноденствие», «Озерову-трагику» и «складень» «Рим» (три стихотворения)». *Гигант* — Исаакиевский собор в Петербурге.

55. К2, с. 68. Беловой автограф под загл. «Равноденствие». Из воспоминаний К. Мочульского известно, что он обучал студента-филолога О. Мандельштама древнегреческому языку в 1912 г.: «Ему нужно было сдать экзамен... и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывавшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие. Наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда узнал, что при-

частие от глагола «пайдево» (воспитывать) звучит «пепаидевкос», он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: «Я ничего не приготовил, но написал стихи». И, не снимая пальто, начал петь. Мне запомнились две строфы:

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.

Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепаидевкос?»»

56. «Новый Сатирикон», 1915, № 26, с. 3, под загл. «Морожено!»; К2, без загл. Печ. по С, с. 70. Беловые автографы: 1) допечатной редакции — ПД, архив М. В. Аверьянова, 2) первопечатного текста.

57. К2, с. 71. *Оссиан* — легендарный кельтский поэт (III в. н. э.). Под его именем шотландский поэт Д. Макферсон в 1765 г. издал сборник эпических поэм (частично запись народных шотландских песен). *Скальд* — поэт-певец в древней Скандинавии.

58. «Аполлон», 1914, № 6—7 (вышел в октябре), с. 12. Печ. по К2, с. 72. Автографы двух допечатных редакций с датой: сентябрь 1914 — 1) архив С. П. Каблукова и 2) архив М. Л. Лозинского. В «Аполлоне» строфа 3:

Европа Августа и Солнца-короля,
А ныне в рубище Священного союза,
Пята Испании и нежная медуза,
Земля Италии, романская земля.

Меттерних Клеменс (1773—1859) — глава австрийского правительства, вдохновитель реакционного *Священного союза* — коалиции Австрии, Пруссии и России, созданной в целях борьбы с освободительным движением.

59. «Голос жизни», 1915, № 14, с. 10, с другим текстом строфы 3:

Знаю, снег на черных пашнях
Не растает никогда,
Виноградников домашних
Не пьянит меня вода.

Печ. по К2, с. 74. Беловой автограф. Тема и образы стих. связаны со статьей Мандельштама о Чаадаеве (1914): «У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода вы-

бора. Никогда на Западе эта свобода не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте. Чаадаев принял ее как священный посох и пошел в Рим» («Аполлон», 1915, № 6—7, с. 61). *Печаль моих домашних Мне по-прежнему чужда*. Ср. в той же статье: «С тех пор, как эти слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он уже не принадлежал себе и навеки оторвался от «домашних» людей и интересов» (с. 58).

60. «Альманахи стихов, выходящие в Петрограде», вып. 1, 1915, с. 20. Печ. по КЗ, с. 70. В первопечатном тексте строфа 2:

Когда земля гудит от грома
И речка бурная ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке.

Автограф допечатной редакции с датой: 6 декабря 1914 — собрание С. И. Липкина; здесь ст. 29—32:

Тебя предчувствуя в темнице,
Шенье достойно принял рок,
Когда на черной колеснице
Он просиял, как полубог.

Автографы: второй допечатной редакции с датой: декабрь 1914 — ПД, архив М. В. Аверьянова; первопечатного текста — ЦГАЛИ. *Сын фламандца*. Отец Бетховена был выходцем из г. Антверпена. *Ритурнель* (от итал. *ritorno* — возвращение) — инструментальный эпизод, исполняющийся в начале и в конце каждой строфы вокального произведения. *Полнеба охватил костер*. Ср. в стих. Тютчева «Последняя любовь»: «Полнеба обхватила тень». *Скиния* — шатер, походный храм у древних евреев. *Белой славы торжество*. В отрывке неопубликованной статьи Мандельштама о Скрябине (1915) это выражение применено к характеристике «Девятой симфонии» Бетховена.

61. «Рудни», 1916, № 8 (апрель-май), с. 9; перепеч. — «Красная новь», 1922, № 4. Авториз. список допечатной редакции с датой: 1915 и с еще двумя (заключительными) строфами:

Поведайте пустыне
О дереве креста;
В глубокой сердцевине
Какая красота!

Из дерева простого
Я смастерил челнок,
И ничего иного
Я выдумать не мог.

62. К2, с. 81. Авториз. список доредакционной редакции. Написано в июне 1915 г. (запись в дневнике С. П. Каблукова от 24 июня 1915 г.). *Афон* — полуостров в северо-восточной Греции, известный своими монастырями, в том числе и русским. *Имябожцы* (точнее — имябожники) — русская религиозная секта, возникшая на Афоне в 1910 г. и объявленная Синодом еретической.

63. К2, с. 79, с датой: 1915; «Новый Сатириконе», 1916, № 42 (др. ред.). Печ. по С, с. 82, где текст совпадает с первопечатным. В С ошибочно датировано 1914 г. В «Новом Сатириконе» после ст. 24:

Переменилось всё земное,
И лишь не сбросила земля
Сутану римского покроя
И ваше золото, поля.
И, самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет, —
Ведь католический священник
Ему советы подает!

Жамм Ф. (1868—1938) — французский «католический» поэт.

В авториз. списке доредакционной редакции строфа 1 совпадает с заключительным восьмистишием в «Новом Сатириконе». Строфа 2:

Священник слышит пенье птичьё
И всякую живую весть,
Питает всё его величье
Сияющей тонзуры честь.
Свет дивный от нее исходит,
Когда он вечером идет
Иль по утрам на рынке бродит
И милостыню подает.

Строфа 3, второе четверостишие:

А в толщъ унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!

Строфа 4 (заключительная):

Там каноническое счастье,
Как солнце, стало на зенит,
И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.
О жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь твою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!

Тонзура — выбритый кружок на макушке головы у католических духовных лиц. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор, автор философских трактатов.

64. К3, с. 58. Написано в начале 1915 г. (запись в дневнике С. П. Каблукова от 24 июня 1915 г.).

65. К2, с. 82. Авториз. список допечатной редакции. Написано в июне 1915 г. (запись в дневнике С. П. Каблукова от 24 июня 1915 г.).

66. К2, с. 83. Беловой автограф — архив М. Л. Лозинского. Написано летом 1915 г., во время пребывания поэта в Крыму. *Список кораблей* — перечень кораблей, участвовавших в морском походе против троянцев («Илиада», песнь вторая). *Елена* — героиня «Илиады», царица Спарты, похищенная сыном троянского царя Парисом. Это послужило поводом к войне, завершившейся гибелью *Трои* (древний город в Малой Азии). *Ахейские мужи* — ахейцы, греческое племя, с которым связаны древнейшие мифы и сказания эллинского мира. В поэмах Гомера этим именем обозначаются вообще греки.

67. К2, с. 84. Печ. по К3, с. 87. Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. Написано в августе 1915 г. В стих. отразились впечатления, связанные с пребыванием поэта в Феодосии, окрестности которой имеют сходство с пейзажами северной и центральной Италии. В первой половине августа 1908 г. Мандельштам совершил однодневную поездку из Берна в Геную (письмо к родным. Собрание Е. Э. Мандельштама). *Цезарь Юлий* (100—44 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, фактически положивший конец республиканскому строю. *Капитолий* — священный холм в Древнем Риме, крепость, где находились важнейшие государственные учреждения и храм Юпитеру. *Форум* — см. примеч. к № 82. *Август* (63 до н. э. — 14 н. э.) — Цезарь Октавиан, первый римский император. *Печаль моя светла* — полустушище из стих. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». *Мне осень добрая волчицею была*. Источник этого образа — предание о легендарном основателе Рима Ромуле и его брате Реме, вскормленных волчицей. *Месяц цезарей*. Шестой месяц римского года был назван августом в честь императора Августа, получившего это имя от сената. Имя Август («священный») стало официальным императорским титулом.

68. К2, с. 85. Написано в ноябре 1915 г. (запись в дневнике С. П. Каблукова от 18 ноября 1915 г.). Ст. 14—17 перекликаются со стих. № 52. *Федра* — см. примеч. к № 52. «Как эти покрывала мне постылы...» — цитата из трагедии Расина «Федра» (д. 1, явл. 3). *Мельпомена* (греч. миф.) — муза трагедии.

TRISTIA
(1916 — 1920)

69. Т, с. 7. Печ. по С, с. 93, где многоточием заменен ст. 21: «Смерть охладит мой пыл из чистого фиала». Автограф допечатной редакции с датой: 13 октября 1915; здесь после ст. «Покраснеют от стыда», вместо строк, замененных многоточием, и двух последующих, было:

Вот она: какне речи
И какой ужасный вид!
Избегает с нею встречи,
Чуя правду, Ипполит.

Вместо ст. 13—19:

Черным факелом среди белого дня
К Ипполиту любовью Федра зажглась
И сама погибла, сына виня,
У старой кормилицы учась.
Позабыла свой род и царский сан;
Возвела на юношу неправды тень,
Заманила охотника в капкан.
По тебе будут плакать леса, олень!

Рядом с заключительным четверостишием (почти совпадающим с печатными текстами) записан отброшенный вариант:

Соберем несчастья плод
В доме Федры утомленной,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное взойдет.

В списке другой допечатной редакции (дата: 1915) дан текст ст. 7—8, замененных в печатных текстах многоточием:

Гибель Федры беззаконной
Перейдет из рода в род

Вместо ст. 22—29:

Посоветовала кормилица
Ипполита извести.
Горьким дымом горе стелется,
Разъедает очи гарь.

.
.
.
.

Зпаменитая беззаконница —
Федра солнце погребла, —
В очаге средь зала царского
Злитя скучная зола!

Но светило златокудрое
Выздоравливает вновь,
Злая ложь и правда мудрая
Пред тобой равны, любовь.

Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. Список заключительной строфы окончательной редакции (дата: 1916). Ст. 1—2, 11—12 и 20 — слова Федры из одноименной трагедии Расина (ср. стих. № 68). Жена афинского царя *Тезея* Федра, воспылав страстью к своему пасынку *Ипполиту*, погубила его, а сама покончила самоубийством. *Трезена* — город в Древней Греции, с которым связано предание о юноше Ипполите, отвергшем любовь мачехи.

70. «Новая жизнь», 1917, 18 июня, с подзаголовком «Ода»; альм. «Тринадцать поэтов», 1917, с датой: январь 1916; альм. «Ковчег», Феодосия, 1920 (первопеч. ред.); «Паруса», 1922, № 1; Т; альм. «Наши дни», 1922, № 2, и ВК (первопеч. ред.); С (с сокращениями, нарушившими связное чтение). Печ. по авт. экз. С, с. 95, где 3 сентября 1935 г. был восстановлен полный текст, с поправками. В автографе с пометой «11 янв(аря) 1916. Петербург» зафиксированы различные стадии работы над текстом; здесь же первоначальные загл.: «Ода миру во время войны», «Ода миру», «Ода воюющим державам», «Мир (Ода)». В списке допечатной редакции строфа 1:

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры.
Как на косматые пещеры
Мы променяли сей эфир?
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать;
Мы научились умирать,
Но разве этого хотели?

Геракл (греч. миф.) — сын Зевса, герой, совершивший множество подвигов; его атрибуты — львиная шкура и палица.

71. «Альманах муз», 1916, с. 113. Печ. по ВК, с. 14. Написано в конце марта 1916 г. По свидетельству М. Цветаевой, стих. посвящено ей (запись Цветаевой на экз. Т, датированная 3 мая 1941 г. Собрание А. Е. Крученых). Автограф допечатной редакции с датой: март 1916. Беловой автограф первопечатного текста. Стих. переключается со стих. М. Цветаевой (29 марта 1916) «Дмитрий! Марина! В мире...» («Версты», М., 1922, с. 32). *Мы ехали огромною Москвой*. См. в воспоминаниях М. Цветаевой «История одного посвящения» (1931): «...чудесные дни с февраля по июнь 1916, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву» («Литературная Армения», 1966, № 1, с. 66). См. также стих. М. Цветаевой «Из рук моих — нерукотворный град...» и «Мимо ночных башен...» («Версты», с. 38, 40). *Царевича везут*. Имеется в виду царевич Алексей. 18 марта 1718 г. Петр I увез Алексея из Москвы в Петербург, где он был казнен.

72. «Ипокрена», 1918, № 2—3, с. 28 (первонач. ред.); «Свободный час», 1919, № 2 (апрель). Заключительная часть этой редакции была выделена в самостоятельный стих. (см. № 73). Печ. по «Вечерней звезде», 1918, 4 марта. Беловой автограф первоначальной редакции с датой: май 1916 — архив М. Л. Лозинского. В автографе и журналах после ст. 10:

Не фонари сияли нам, а свечи
Александрийских стройных тополей.
Вы сняли черный мех с груди своей
И на мои переложили плечи.
Смущенная величием Невы,
Ваш чудный мех мне подарили вы!

Петрсполь — Петроград.

73. «Ипокрена», 1918, № 2—3, с. 28 (см. примеч. к № 72). В качестве отдельного стих. — «Вечерняя звезда», 1918, 15 марта. *Прозерпина* (римск. миф.) — то же, что Персефона (см. примеч. к № 97). *Афина* (греч. миф.) — дочь Зевса, богиня мудрости и победы; по некоторым мифам — дочь Океана; изображалась в полном вооружении и шлеме.

74. «Аполлон», 1916, № 9—10 (ноябрь-декабрь), с. 75. Печ. по Т, с. 22. Обращено к Марине Цветаевой. По свидетельству М. Цветаевой, написано в Коктебеле (запись на экз. Т, датированная 3 мая 1941 г.). В феврале-марте 1916 г. М. Цветаева написала девять стихотворений, посвященных Мандельштаму (сб. «Версты», М., 1922, с. 10—15, 20—21, 38—40; отмечено в 1941 г. Цветаевой на сб. «Версты», находившемся у А. Крученых). В «Аполлоне» вместо двух строк отточий было:

Я через овиди степные
Тянулся в каменный Крым. . .

В 1932 г. Мандельштам сообщил редактору настоящего издания, что эти стихи были сочинены М. Л. Лозинским. В архиве М. Л. Лозинского находится беловой автограф (дата: июнь 1916), где эти стихи отсутствуют. *Юродивая слобода* — по свидетельству М. Цветаевой, Александровская слобода Владимирской губ. (ныне — г. Александров). Здесь летом 1916 г. Мандельштам гостил у М. Цветаевой.

75—76. Альм. «Тринадцать поэтов», 1917, с. 25, с датой: декабрь 1916; альм. «Ковчег», Феодосия, 1920, без загл.; Т, с загл.: «Москва», 1922, № 7. Печ. по С, с. 101. Автографы: 1) первоначальный беловой, 2) черновой, с иной последовательностью строф. Варианты строф 3 (соответствует строфе 4 окончательного текста) и 5 в черновом автографе:

И, к умирающим склоняясь в черной рясе,
Заиндевелых роз мы дышим белизной.

Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной.

Где голубая кровь декабрьских роз разлита
И в саркофаге спит тяжелая Нева,
Шуршит соломинка, соломинка убита —
Что если жалостью убиты все слова?

Обращено к Саломее Николаевне Андрониковой, знакомой Мандельштама. Кроме этого стих., Мандельштам посвятил ей «Мадригал» (список, с датой: 1916):

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена.
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!

Всю смерть ты выпила. Источник этого образа — трагическая буффонда Хлебникова «Ошибка смерти», изданная в ноябре 1916 г.: двенадцать посетителей «Харчевни веселых мертвецов» пьют через соломинку из «кубка смерти». Это произведение Хлебникова Мандельштам упоминает в статье «Буря и натиск» («Русское искусство», 1923, № 1, с. 81). *Лигейя* — героиня одноименной новеллы Э. По. *Ленор* (Линор) — героиня одноименного стих. Э. По (см. также его «Ворон»). *Серафита* — героиня одноименного романа О. Бальзака. Перечень этих имен восходит к статье Т. Готье о Ш. Бодлере: «...Вечно желанный и никогда не достижимый идеал, верховная божественная красота, воплощенная в образе эфирной, бесплотной женщины... как Лигейя... и Элеонора Эдгара По и Серафита — Серафит Бальзака...» (Теофиль Готье, Шарль Бодлер, Петроград, 1915, с. 34).

77. «Вечерняя звезда», 1918, 16 февраля, с датой: 1916. С той же датой, без загл. — Т. В С — с ошибочной датой: 1914 и под загл. «1914». Беловой автограф с датой: 1916 — ЦГАЛИ. Черновой текст — на одном листе с черновиком стих. «Соломинка», написанным в декабре 1916 г. Первоначальный вариант строфы 3:

О Европа, новая Эллада,
Золотая житница гостей,
Ни любви, ни дружбы нам не надо
Альбиона каменных детей.

В черновике дана и окончательная редакция этой строфы. Строфа 4, не вошедшая в окончательный текст:

На священной памяти народа
Англичанин другом не слывет,

Развалит Европу их свобода,
Альбиона каменный приход.

Написано в связи с прибытием в Россию английских кораблей с военным снаряжением. В свое время это стих. не могло появиться в печати по цензурным условиям. С. П. Каблуков 2 января 1917 г. приводит в дневнике это стих., «отражающее его (Мандельштама) нелюбовь... к Англии, которую он считает высокомерной, самоуверенной и мешански-самодовольной нацией-островитянкой, по духу чуждой и враждебной Европе (континентальной)». *Саламин* — остров близ берегов Греции; в 598 г. до н. э. был захвачен афинянами.

78. «Новая жизнь», 1917, 24 декабря; альм. «Исход», 1918, с датой: 1917 г., июнь; «Московский понедельник», 1922, 14 августа, и «Красная новь», 1922, № 4 (июль-август). Печ. по Т, с. 25. В авториз. списке допечатной редакции строфа 5:

«С глубокомысленной и нежною страной
Нас обручило постоянство».
Мерцает, как кольцо на дне реки чужой,
Обетованное гражданство.

Ст. 3—4 строфы 1, возможно, навеяны рисунком декабриста Н. Репина «Декабристы в Читинском остроге» (см.: «Отечественная война и русское общество», т. 7, М., 1912, с. 265). *Квадрига* — у римлян колесница, запряженная четырьмя лошадьми; здесь — колесница на триумфальных арках. *Лорелея* — см. примеч. к № 187.

79. «Знамя труда», 1918, 8 июня, под загл. «Виноград»; «Орион», Тифлис, 1919, № 6, с посвящением «Вере Артуровне и Сергею Юрьевичу (Судейкиным)» и с пометой: «Алушта 11 августа 1917»; альм. «Посев», Одесса, 1921, без загл.; «Московский понедельник», 1922, 11 сентября, с загл. «Виноград»; альм. «Наши дни», 1922, № 2 и альм. «Свиток», 1924, кн. 3 — без загл. Печ. по «Цеху поэтов», 1922, кн. 3, с. 16. Беловой автограф с пометой: «Август 1917. Алушта» — архив М. Л. Лозинского. По сообщению В. М. Жирмунского, стих. написано после посещения дачи художника С. Ю. Судейкина в Алуште. *Хозяйка* — вторая жена С. Ю. Судейкина, В. А. де Боссе (впоследствии жена Игоря Стравинского). *Елена* — см. примеч. к № 66. *Как долго она вышивала.* Имеется в виду Пенелопа (греч. миф.), жена *Одиссея*, сохранившая верность мужу во время его двадцатилетних странствий. Она обещала сватавшимся к ней женихам выйти замуж, когда закончит ткать холст, но все, сделанное днем, распускала ночью. *Золотое руно.* По преданию, греческие герои, возглавляемые Язоном, отправились на корабле «Арго» в Колхиду, чтобы овладеть золотым руном волшебного барана, которое охранял дракон.

80. «Советская страна», 1919, 3 февраля, под загл. «Меганон»; перепеч. — сб. «Обвалы сердца», Севастополь, 1920, альм. «Посев», Одесса, 1921, сб. «Радуга», Полтава, 1921, кн. 2-3; Т, под загл. «Меганом» (принадлежащая редакции); альм. «Трилистник», вып. 1, 1922, под загл. «Меганон». Печ. по ВК, с. 22. Беловые автографы

(без загл.): 1) с пометой: «Август 1917. Алушта» — архив М. Л. Лозинского, 2) с пометой: «16 августа 1917. Алушта». *Асфodelи* — лилии; в Древней Греции считались цветами траура. Асфodelевы луга в подземном царстве — местопребывание душ умерших. *Но здесь душа моя вступает, Как Персефона, в легкий круг.* Ср. у Блока («Вот явилась. Заслонила...»): «И душа моя вступила В предназначенный ей круг». *Меганон* (правильно: Меганом) — мыс на южном берегу Крыма.

81. «Вечерняя звезда», 1918, 9 марта. В КЗ ошибочно помещено среди стихов 1915—1916 гг., в С — среди произведений 1914 г., но без даты. Написано одновременно со стих. «Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи...», относящимся к ноябрю 1917 г. (беловые автографы — на одном листе, ЦГАЛИ). Второй беловой автограф — архив М. Л. Лозинского.

82. Т, с. 41, без даты. В С ошибочно помещено среди стихов 1914 г. Написано в ноябре 1917 г., одновременно со стих. № 81 (беловые автографы — на одном листе, архив М. Л. Лозинского). Первоначальная редакция (авториз. список):

Когда держался Рим в союзе с естеством,
Носились образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде роши.

А ныне человек — ни раб, ни властелин —
Не опьянен собой, а только отуманен.
Невольно говорим: «Всемирный гражданин»,
А хочется сказать: «Всемирный горожанин».

Форум — площадь в Древнем Риме, на которой сосредоточивалась общественная жизнь города.

83. «Москва», 1919, № 3, с. 6; перепеч. — альм. «Наши дни», 1922, № 2. Написано в конце 1917 г. *Валгалла* (сканд. миф.) — загробное царство воинов, павших на поле битвы; там бессмертные девы-валькирии угощают героев винами и яствами. *Скальд* — см. примеч. к № 57.

84. «Ипокрена», 1918, № 2—3, с. 28; Т, с датой: 1918. Печ. по С, с. 115, где восстановлен первопечатный текст. 7 мая 1918 г. Мандельштам записал в альбом В. И. Кривича-Анненского (ЦГАЛИ) текст стих. с эпиграфом из стих. Гейне («Книга песен», цикл «Опять на родине», 20): «Du Doppelgänger! du bleicher Geselle!». Там же записана и зачеркнута дата написания: январь 1918 г. По сообщению А. А. Ахматовой, стих. написано в связи с посещением консерватории, где был вечер песен Шуберта (исполнительница — О. Н. Бутомо-Названова). Образы стих. навеяны песнями Шуберта: «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь» и «Двойник».

85. «Творчество», Харьков, 1919, № 3, с. 3. В Т неточный текст; датировано 1918 г. Эта же дата в авт. экз. С. Написано в начале 1918 г. Обращено к Анне Ахматовой.

86. Сб. «Обвалы сердца», Севастополь, 1920, с. 15, под загл. «В горячке соловьиной» (не принадлежащим Мандельштаму). Печ. по «Красной нови», 1923, № 1, с. 50. Написано в начале 1918 г. (На 1918 г. исправлена дата и в авт. экз. С.) *Это красный шелк горит.* По сообщению А. А. Ахматовой, Мандельштам, беседуя с нею у горящей печки, сказал, что огонь похож на красный шелк. *И на дне морском простит.* Ср. в стих. Мандельштама «Телефон» (1918): «На дне морском цветет: прости!»

87. «Вечерняя звезда», 1918, 6 марта, с датой: март 1918. В ВК и С — неточный текст. *Воды и неба брат.* Ср. в стих. № 43 «Сняет издали, воде и небу брат».

88. «Жизнь», 1918, 30 июня. Автограф с пометой: «Май 1918. Москва» — ЦГАЛИ. *Геркуланум* — город на берегу Неаполитанского залива, погибший во время извержения Везувия в 79 г. н. э.

89. «Знамя труда», 1918, 24 мая, под загл. «Гимн» и с пометой: «Москва, май 1918»; «Известия Временного рабоче-крестьянского правительства Украины», Харьков, 1919, 9 марта, под загл. «Сумерки свободы»; «Красный милиционер», 1921, № 2—3, без загл.; Т, под загл. «Сумерки свободы»; С, без загл., без ст. 1—2 и 9—10. Печ. по ВК, с. 33. *Летейский* — от названия реки забвения Леты (греч. миф.).

90. «Пути творчества», Харьков, 1919, № 4, с. 11, без загл., без строфы 3; «Гермес», Киев, 1919, апрель, без загл., со строкой отточий после строфы 2 (в 1933 г. Мандельштам сообщил редактору настоящего издания, что отточиями были заменены две отброшенные строфы). Печ. по альм. «Дракон», 1921, с. 16 (загл. «Tristiae» исправлено на «Tristia» в соответствии со всеми последующими сборниками). Заглавие стих. восходит к книге Публия Овидия Назона «Tristiae» («Скорби», «Скорбные элегии»). Стих. перекликается с третьей элегией первой книги Тибулла (в вольном переводе К. Н. Батюшкова). *Вигилии* — ночные караулы в Древнем Риме. *Делия* — имя возлюбленной Тибулла, ставшее условным поэтическим именем; ср. образные параллели в заключительной части «Элегии из Тибулла» К. Н. Батюшкова. *Как белчья распластанная шкурка.* Ср. в стих. А. Ахматовой «Высоко в небе облачко серело...» (1911): «Как белчья расстеленная шкурка». *Эреб* (греч. миф.) — подземная страна, царство мертвых.

91. «Пути творчества», Харьков, 1920, № 6—7 (январь-февраль), с. 13, под загл. «Черепаша»; альм. «Дракон», 1921, под тем же загл.; Т, под тем же загл. (первопеч. ред.). Печ. по С, с. 125, где текст совпадает с первопечатным. По свидетельству Н. Я. Мандельштам, написано 2 мая 1919 г. в Киеве. *Пиэрия* — область во Фракии, где существовал культ муз и Диониса; одно из названий муз — пиэриды. *Ионийский мед* — здесь: древнегреческая поэзия. Иония — прибреж-

ная часть Малой Азии, а также острова Эгейского архипелага (Милет, Самос, Хиос и др.), принадлежавшие древним грекам. Сафо (VII—VI вв. до н. э.) — греческая поэтесса. *Обула Сафо пестрый сапожок*. Ср. «Из песен подругам» Сафо: «Пестроцветный ногу сапожок обул...» («Алкей и Сафо», пер. Вяч. Иванова, М., 1914, с. 142). *Как в песенке поется, перстенок*. Ср. там же: «Что ж перстеньком ты похваляешься?» (с. 146). *Высокий дом построил плотник*. Ср. в эпиталяме Сафо: «Стройте, плотники, выше! Свадьбе слава!» (там же, с. 183). *На башмаки все пять воловьих шкур*. Ср. в эпиталяме Сафо: «Сапоги — из пяти шкур бычачьих» (там же, с. 189). *Черепаха-лира*. По греческому мифу, лиру изобрел Гермес, сделавший ее из панциря черепахи. Сохранились митиленские монеты с профилем Сафо, на оборотной стороне которых изображена лира в виде черепахи. *Эпир* — береговая полоса Македонии. *Терпандр* (VII в. до н. э.) — греческий поэт, по преданию усовершенствовавший лиру, у которой первоначально было не семь струн, а только четыре.

92. Т, с. 40, как первая строфа четырехстрочного стих. Печ. по С, с. 131. Автограф сокращенной редакции (строфа 1) — ГПБ. Строфы 2—4 в Т:

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, святого духа крепость.
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.

В Т ошибка: «Палестины» вместо «Палестрины». Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1526—1594) — итальянский композитор, автор месс; его произведения были признаны католической церковью образцом церковного стиля полифонии.

93. «Ковчег», Феодосия, 1920, с. 15, с пометой: «Март 1920. Коктебель»; перепеч. — альм. «Союз поэтов», 1922, № 2. Печ. по ВК, с. 39. Автограф — ПС (№ 2). *Время вспахано плугом*. Ср. в статье Мандельштама «Слово и культура» (1920): «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем оказываются сверху» (альм. «Дракон», 1921, с. 75).

94. Т, с. 43. *Лиля* — по библейскому преданию, сестра Рахили. Мужем обеих сестер был Иаков. *Илион* — Троя. *Елена* — см. примеч. к № 66.

95. «Альманах Цеха поэтов», 1921, кн. 2, с. 27; Т, под загл. «Венецианская жизнь»; «Огонек», 1923, № 7, под загл. «Венеция». Печ. по С, с. 129. Автограф под загл. «Венецианская жизнь» — ПС (№ 1). Замысел стих. возник во время пребывания Мандельштама в Феодосии в 1920 г.: в книге «Шум времени» (Л., 1925) поэт уподобляет «врангелевскую» Феодосию «разбойничьей средиземной республике шестнадцатого века» (с. 88). 21 октября 1920 г. Мандельштам читал эти стих. в «Клубе поэтов» в Петрограде. Присутствовавший на вечере А. Блок 22 октября записал в дневнике: «Гвоздь вечера — О. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только... Его „Венеция“» (Собр. соч., т. 7, 1963, с. 371). *Голубое дряхлое стекло*. В эпоху Возрождения Венеция славилась своими стеклянными изделиями (цветное стекло, фальшивые «драгоценности», зеркала и т. п.). *Словно голубь залетел в ковчег*. По библейскому преданию, голубь, выпущенный из ковчега и вернувшийся с ветвью в клюве, возвестил о близости земли, т. е. о прекращении всемирного потопа. *Вечер* — вечерняя звезда (Венера). *Сусанна старцев ждать должна*. По библейскому преданию, девушку-иудейку Сусанну оклеветали старцы, пытавшиеся ее соблазнить. Ее приговорили к смерти, но она была спасена пророком Даниилом. «Купающаяся Сусанна и старцы» — сюжет двух картин венецианского живописца Якопо Тинторетто (1519—1594), высоко ценимого Мандельштамом.

96. Т, с. 39, без загл., без первых трех строф, с неточной датой: 1919; «Культура и жизнь», 1922, № 4, с датой: 1920—1922 (полный текст); перепеч. — «Красная новь», 1923, № 1, без даты. Печ. по С, с. 132. С начальными строками стих. перекликается описание Феодосии в книге Мандельштама «Шум времени» (1925): «Подобно большинству южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей разверсткой, голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов» (с. 95). *Месмерический уют*. Имеется в виду изображение «летающих» утюгов на вывесках прачечных в дореволюционной России; месмеризм — «животный магнетизм» (по имени немецкого медика Ф. Месмера).

97. Т, с. 65; перепеч. — альм. «Лирический круг», 1922, «Накануне», Берлин, 1923, 8 апреля (лит. прилож. № 47), вместе со стих. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» и «Возьми на радость из моих ладоней...», под общим загл. «Летейские стихи». Печ. по авт. экз. С, с. 134, с поправкой, внесенной 22 марта 1937 г. 19 декабря 1920 г. поэт записал это стих. в альбоме А. И. Ходасевич (ЦГАЛИ). Автограф — ПС (№ 4). В авториз. списке (март 1937 г.) вариант заключительной строфы:

И в нежной сутолке, не зная, как ей быть,
Душа не узнает ни веса, ни объема,
Дохнет на зеркало, — и медлит уплатить
Лепешку медную хозяйину парома.

Этот вариант был отброшен: в беседе с редактором настоящего издания Мандельштам сказал, что «Харон в качестве хозяина парома уместен только в пародийных стихах». *Психея* (греч. миф.) — олицетворение человеческой души; изображалась в виде девушки с крыльями бабочки. *Персефона* (греч. миф.) — жена Аида, владычица царства мертвых (Прозерпина — у римлян). *Стигийский* — от названия реки Стикс в царстве мертвых (греч. миф.). *Лепешка медная с туманной переправы*. По древнегреческим верованиям, души умерших, переправляясь через реку Стикс в подземное царство, вручали медную монету перевозчику Харону.

98. «Дом искусств», 1921, № 1, с. 12, с датой: ноябрь 1920; Т, под загл. «Ласточка»; «Накануне», Берлин, 1923, 8 апреля (лит. прилож. № 47; см. примеч. к № 97). Печ. по ВК, с. 46. Автограф под загл. «Слово» — ПС (№ 3). Черновой автограф с пометой: «Ноябрь 1920. Петербург» — ЦГАЛИ; здесь черновая редакция строфы 2:

А на губах, как черный лед, горит
И мучит память, не хватает слова,
Не выдумать его, само гудит,
Качает колокол беспамьятства ночного.

Отброшенная строфа, развернутая в этом же черновике в две строфы (4 и 5):

Как эту выпуклость и радость передать,
Когда сквозь лед нам слово улыбнется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И зрячих пальцев стыд не всякому дается.

Самый ранний черновой набросок — недоработанные две строфы, соответствующие строфам 4 и 6 окончательной редакции (ПД). *Антигона* (греч. миф.) — дочь фиванского царя Эдипа, за которым она последовала в изгнание; символ дочернего самопожертвования. *Стигийский* — см. предыдущее примеч. *Зрячих пальцев стыд; выпуклая радость узнаванья*. Ср. в статье Мандельштама «Слово и культура» (1920): «Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнаванья, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом...» (альм. «Дракон», 1921, с. 77). *Аониды* (греч. миф.) — музы.

99. Т, с. 46, с датой: 25 ноября 1920. Печ. по С, с. 99. В Т ст. 25—28:

Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож;
Заводная кукла офицера;
Не для черных душ и низменных святош...

Черновой автограф с датой: 24 ноября 1920 — собрание С. И. Бернштейна. По сообщению О. Н. Арбениной (Гильдебрандт), обращено

к ней. *Только злой мотор во мгле промчится* и т. д. — перекликаются со ст. 21—22 стих. Блока «Шаги командора», которое Мандельштам считал «вершиной исторической поэтики Блока» («О поэзии», Л., 1928, с. 60). *Киприда* (греч. миф.) — одно из имен Афродиты, по острову Кипру, где был распространен ее культ. *И блаженных жен родные руки Легкий пепел соберут*. Ср. в стих. Пушкина «Кривцову» (1817):

... И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.

Хоры сладкие Орфея — хоры теней в опере «Орфей» Глюка (1714—1787).

100. «Жизнь искусства», 1921, 9—14 августа, с. 6; «Альманах Цеха поэтов», 1921, кн. 2, с датой: декабрь 1920; «Искусство», Баку, 1921, № 2—3 (октябрь), под загл. «Эвридика»; Т, без загл.; «Красная новь», 1923, № 1 (первопеч. ред.). Печ. по С, с. 137. Автограф под загл. «Эвридика» — ПС (№ 6). В первопечатной редакции ст. 23—24:

И румяные затопленные печи,
Словно розы римских базилик.

В черновом автографе с датой: ноябрь 1920 (собрание С. И. Бернштейна) — ст. 1—4 и строфа 2:

Снова Глюк из жалобного плена
Вызывает сладостных теней.
Захлестнула окна Мельпомена
Красным шелком в храмине своей.

Снова челядь шубы разбирает,
Розу кутают в меха.
А взгляни на небо — закипает
Золотая дымная уха,
Словно звезды — мелкие рыбешки,
И на них густой навар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

Обращено к О. Н. Арбениной (актриса и художница). *Хоры слабые теней* — хоры теней в опере Глюка «Орфей». *Мельпомена* (греч. миф.) — муза трагедии. *Черным табором стоят кареты*. Ср. в книге Мандельштама «Шум времени» (1925): «Проскальзывали на блестящий круг и строились во внушительный черный табор рессорные кареты...» (с. 37). *Эвридика* (греч. миф.) — жена Орфея, поэта и музыканта. Его игре на лире внимали звери, леса и горы. Чтобы вернуть умершую жену, Орфей спустился в подземное царство. Восхищенная его пением Персефона разрешила ему увести жену при условии, что Орфей взглянет на нее только по возвращении на землю. Орфей нарушил это условие и лишился Эвридики навсегда. *Певучий притин* —

здесь: опера Глюка «Орфей». Притин — полуденное солнцестояние; южный край. «Ты вернешься на зеленые луга» — ария Орфея в опере Глюка.

101. Алм. «Цех поэтов», 1922, кн. 3, с. 18, и «Рупор», 1922, № 5, с. 2; С, с добавочной (заключительной) строфой. Печ. по авт. экз. С, с. 139, с поправками, внесенными 7 ноября 1935 г. Автограф под загл. «Тифлис» — ПС (№ 7). Беловой автограф заключительной строфы с авторской пометой: «К «Мне Тифлис. . .» — в конец» (ГПБ). Мандельштам посетил Тифлис в 1920 и 1921 гг. Образы стих. навеяны циклом «духанных пиршеств» народного грузинского художника Нико Пирсманашвили (1862—1918), которого Мандельштам считал одним из замечательнейших живописцев XX в. *Сазандари* — певцы и музыканты народного грузинского инструментального ансамбля (саз — род мандолины). *Телиани* — сорт грузинского красного вина.

102. «Дом искусств», 1921, № 1, с. 13, с датой: ноябрь 1920; перепеч. — «Накануне», Берлин, 1923, 8 апреля (лит. прилож. № 47; см. примеч. к № 97). Автографы: ПД (с посвящением «Олечке Арбениной») и ПС (№ 5). Обращено к О. Н. Арбениной. *Персефона* — см. примеч. к № 97. *Тайгет* — горный хребет в Греции.

103. «Новый Гиперборей» («Журнал Цеха поэтов»), 1921, № 1 (гектограф, тираж 20 экз., ЦГАЛИ), с. 5, под загл. «Троянский конь», с датой: ноябрь 1920; «Альманах Цеха поэтов», 1921, кн. 2, без загл.; «Искусство», Баку, 1921, № 2—3 (октябрь) (неточный текст) под загл. «Конь», не принадлежащим Мандельштаму; сб. «Московские поэты», Великий Устюг, 1924 (неточный текст). Печ. по автографу — ПС (№ 8). Авториз. список допечатной редакции, состоящей из трех строф: строфа 2 совпадает с 3, а 3 — с заключительной строфой окончательного текста. Здесь строфа 1:

Когда ты уходишь и тело лишится души,
Меня обступает мучительный воздух дремучий,
И я задыхаюсь, как нволга в хвойной глуши,
И мрак раздвигаю губами сухой и дремучий.

Обращено к О. Н. Арбениной. *Ахейские мужи во тьме снаряжают коня*. Троянский конь — военная хитрость, с помощью которой греки овладели Троей: троянцы ввели в свой город исполненного деревянного коня, внутри которого находились греческие воины («Илиада» Гомера). *Приам* — троянский царь, отец Париса, похитителя Елены (см. примеч. к № 66).

104. Т, с. 62, без строфы 6, с датой: декабрь 1920. Печ. по ВК, с. 59. Обращено к О. Н. Арбениной. *Бауга* — карнавальная полумаска.

105. «Всемирная иллюстрация», 1922, вып. 5, с. 8.

106. Т, с. 56; здесь 4 заключительные строки:

И в полунощной дреме,
Во сне иль наяву,
В тревоге иль в истоме —
Но я тебя зову.

Печ. по альм. «Кольцо», 1922, кн. 1, с. 28. Обращено к О. Н. Арбениной.

107. Альм. «Кольцо», 1922, кн. 1, с. 27; перепеч. — «Накануне», Берлин, 1922, 25 июня (лит. прилож. № 9). Печ. по ВК, с. 55.

СТИХИ 1921 — 1925 ГОДОВ

108. «Россия», 1924, № 3, с. 83. Печ. по С, с. 153. Беловой автограф первопечатного текста. Авториз. список последней редакции (1927) — собрание Е. М. Глинтерн. В первопечатном тексте между ст. 21 и 22 ст. «Горячий пар зрочки смычков сплит». *И ни одна звезда не говорит*. Ср. у Лермонтова: «И звезда с звездой говорит». *Аониды* — музы. *Огромный парк*. *Вокзала шар стеклянный*. Парк и вокзал в Павловске, где устраивались симфонические концерты. Мандельштам вспоминает о них в очерке «Музыка в Павловске» («Шум времени», 1925). *Элизиум* (греч. миф.) — загробная страна блаженства. Ср. в «Шуме времени»: «В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург» (с. 4). *И запах роз в гниющих парниках*. Ср. в очерке «Музыка в Павловске»: «Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы» (с. 4).

109. Альм. «Лирический круг», 1922, с. 16; перепеч. — «Накануне», Берлин, 1922, 18 июня (лит. прилож. № 8; неточный текст). Печ. по С, с. 155. По сообщению Н. Я. Мандельштам, написано осенью 1921 г.

110. «Россия», 1922, № 1 (август), с. 7; ВК. Печ. по С, с. 156. *Арак* — виноградная водка.

111. «Всемирная иллюстрация», 1922, вып. 3 (июль), с. 10, под загл. «Европа»; «Накануне», Берлин, 1922, 30 июля (лит. прилож. № 11), без загл. Печ. по «Москве», 1922, № 6 (август), с. 2. Сохранилась часть белого автографа (строфы 3 и 4) с датой: май 1922, с позднейшим вариантом ст. 9, не вошедшим ни в первопечатный текст, ни в последующие перепечатки: «Ноздри раздуты, как крылья. Сверканье. Плеск». По сообщению Н. Я. Мандельштам, тема и образы этого стих. навеяны известной композицией В. А. Серова «Похищение Европы». *Европа* (греч. миф.) — дочь финикийского царя, которую похитил Зевс, принявший образ быка.

112. «Москва», 1922, № 6 (август), с. 2; альм. «Возрождение», 1923, т. 2. Печ. по «Красной ниве», 1923, № 12, с. 21. Обращено к

Н. Я. Мандельштам. Беловой автограф окончательной редакции —
Рукоп. отд. Института мировой литературы им. А. М. Горького.

113. «Известия ВЦИК», 1922, 23 сентября; перепеч. — «Абрак-
сас», 1922, № 2 (ноябрь); «Возрождение», 1923, т. 2. Печ. по ВК,
с. 67, где текст совпадает с первопечатным. *Словно хлебные Софии*.
Имеется в виду собор св. Софии (см. примеч. к № 34).

114. «Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1922, № 1
(ноябрь), с. 4 (вместе со стих. «Я по лесенке приставной...», под
общим загл. «Сеновал»); перепеч. — «Петроград», 1923, № 8, сб.
«Поэты наших дней», М., 1924 (без стих. «Я по лесенке пристав-
ной...»). Печ. по авт. экз. С, с. 161, с восстановленным 3 февраля
1936 г. по черновой рукописи вторым вариантом строфы 3. Два чер-
новых автографа (первая и вторая редакции).

115. Там же (см. предыдущее примеч.); перепеч. — «Петроград»,
1923, № 8. Печ. по авт. экз. С, с. 162, где 3 февраля 1936 г. поэт
вписал добавочную строфу (4) с пометой: «Восстановлено по чер-
новику 1922 г.». Два черновых автографа (первая и вторая редак-
ции). *Эолийский чудесный строй*. Эолийцы — ветвь греческого народа,
колонизовавшая Лесбос и малоазиатский берег. Эолийцы дали за-
мечательных лириков (в том числе Алкея и Сафо).

116. «Абраксас», 1922, № 2 (ноябрь), с. 17; перепеч. — альм.
«Возрождение», 1923, т. 2, сб. «Лёт», М., 1923 (посвящен теме авиа-
ции), «Накануне», Берлин, 1923, 29 июля («Лит. неделя»), сб. «Новые
стихи», I, М., 1926. Беловой автограф — Рукоп. отд. Института миро-
вой литературы им. А. М. Горького. Строфу 1 Мандельштам цитирует
в своей статье «Девятнадцатый век» (1922), со следующим коммен-
тарием: «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно
отдаленных монументальных культур, быть может египетской и асси-
рийской...» («Гостиница для путешествующих в прекрасном», 1922,
№ 1, с. 11). *Азраил* — ангел смерти у мусульман.

117. «Сегодня», 1922, № 1 (сентябрь), с. 2, без загл., с первой
строфой, не вошедшей в окончательную редакцию:

Бульварной пропилен шорох —
Лети, зеленая лапта!
Во рту булавок свежий ворох,
Дробями дождь залепетал.

Печ. по альм. «Ковш», 1925, кн. 1, с. 35. Беловой автограф перво-
печатного текста — Рукоп. отд. Института мировой литературы
им. А. М. Горького. Ср. образные параллели в очерке Мандельштама
«Холодное лето»: «Словно мешок со льдом, который никак не может
растаять, спрятан в густой зелени Нескучного, и оттуда ползет холо-
док по всей лапчатой Москве». «Жить нам в Москве... с воробыным
холодком в июле» («Огонек», 1923, № 16, с. 12, 13).

118. «Россия», 1922, № 4 (декабрь), с. 7; перепеч. — «Красная новь», 1923, № 1. Печ. по авт. экз. С, с. 166, с заключительным восьмистишием, восстановленным 3 февраля 1936 г. по сохранившемуся автографу первоначальной редакции (с датой: 8 октября 1922). Беловой автограф первопечатного текста с датой: 9 октября 1922. 21 мая 1923 г. поэт записал это стих. в альбоме Е. П. Казанович (ПД).

119. «Красная новь», 1923, № 2 (март-апрель), с. 135, с подзаголовком «Пиндарический отрывок»; в виде «стихотворения в прозе» — «Накануне», Берлин, 1923, 7 октября («Лит. неделя»). Печ. по С, с. 168. Автограф (после заключительного стиха — строка, оставшаяся недописанной). *Вифлеемский плотник* — Иосиф (библ.). *Чебер*, или чебер — растение. *Воздух бывает темным*. Ср. в стих. № 93: «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух». *Неера* (греч. миф.) — жена Гипериона (Гелиоса); символизирует целину, новину. *Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой*. Ср. первоначальный текст стих. «Московский дождик» (примеч. к № 117). *Время срывает меня, как монету*. Ср. со ст. 3—4 в стих. № 112.

120. ВК, с. 81; отрывок (строфа 4) — «Накануне», Берлин, 1923, 29 июля («Лит. неделя»). Печ. по авт. экз. С, с. 173, из текста которого Мандельштам в 1937 г. изъял 8 строк (после ст. 44):

Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.

Начальные строки второго отброшенного четверостишия Мандельштам использовал в качестве эпиграфа. В беловом автографе (дата: март 1923) — первоначальная редакция двух четверостиший, здесь же подвергнутых переработке. Ст. 37—40:

За этот виноградный край,
За впечатлений круг зеленых,
Меня, как хочешь, покарай,
Голодный грифель, мой звереныш!

Ст. 45—48:

И что б ни вывела рука,
Хотя бы «жизнь» или «голубка»,
И виноградного тычка
Не стоит скормленное губкой.

Автограф промежуточной редакции, с измененным загл. («Грифель») и с датой: март 1923. Черновой автограф и черновые записи отдельных строф. Самая ранняя редакция вступительной строфы:

Какой же выкуп заплатить
За ученичество вселенной,
Чтоб горный грифель приучить
Для твердой записи мгновенной.
На мягкой сланцевой доске
Свинцовой палочкой молочной
Кремневых гор созвать Ликей —
Учеников воды проточной.

Авториз. список первопечатного текста с эпиграфом из Лермонтова: «И звезда с звездой говорит. . .» (собрание Н. И. Харджиева). «Грифельная ода» может рассматриваться как новый этап в развитии поэтического метода Мандельштама, характеризующийся выделением в предметную структуру стиха принципов сложных смысловых ходов, отчасти идущих от Хлебникова. К этому периоду относится ряд высказываний Мандельштама о Хлебникове в статьях «О природе слова» (отд. изд., Харьков, 1922), «Буря и натиск», «Заметки о поэзии» («Русское искусство», 1923, №№ 1 и 2—3). По свидетельству Н. Я. Мандельштам, весной 1922 г. Мандельштам встретился с Хлебниковым в Москве (см. также примеч. к № 275). *Грифельная ода*. Заглавие стих. связано с последним произведением Державина — восьмистишием, написанным на грифельной доске («Река времен в своем стремлени. . .»). В статье «Слово и культура» (1920) Мандельштам писал: «Как трубный глас звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске: кто поднимет слово и покажет его времени. . . — будет вторым Иисусом Навином» (альб. «Дракон», 1921, с. 77). См. также в его статье «Деятельный век» (1922): «Державин на пороге девятнадцатого столетия нацарапал на грифельной доске несколько стихов, которые могли бы послужить лейтмотивом всего грядущего столетия» («Гостиница для путешественников в прекрасном», 1922, № 1, с. 8). *Кремнистый путь из старой песни*. Имеется в виду строка из стих. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу. . .»: «Сквозь туман кремнистый путь блестит». *Стрепет* — резкий шум.

121. «Огонек», 1923, № 14, с. 1, под загл. «Париж»; «Литературно-художественный альманах для всех», 1924, кн. 1, под загл. «Прабабка городов»; С (неточный текст). Печ. по беловому автографу (1923). Тема и образы этого стих., написанного александррийским стихом, навеяны «Ямбами» О. Барбье. В 1923 г. Мандельштам перевел ряд стихотворений Барбье (см. в разделе «Переводы», с. 236—245) и написал статью «Огюст Барбье (поэт Парижской революции 1830 г.)» («Прожектор», 1923, № 13, с. 26). *Фригийская бабушка* — символический образ французской революции 1789 г., женщина в античном (фригийском) колпаке: его носили освобожденные рабы в Древней Греции. *Здесь клички месяцев давали, как котятam*. Имеются в виду названия месяцев по республиканскому

календарю 1793—1805 гг. *Он лапу поднимал, как огненную розу.* Лев — образ народного восстания в «Ямбах» Барбье. В статье Мандельштама о Барбье дан перевод начальных строк стих. «Лев»:

Я был свидетелем трехдневного волнения,
Три дня метался лев народного терпенья
По звучным мостовым прабабки городов. . .

Третья строка этого перевода вошла в стих. «Язык булыжника мне голубя понятней. . .».

122. Сб. «Лёт», М., 1923, с. 25 (см. примеч. к № 275). Печ. по С, с. 178. Черновой и белой автографы.

123. «Русский современник», 1924, № 2, с. 97. Печ. по авт. экз. С, с. 179, с поправкой, внесенной в 1937 г. *Аптечная малина.* В старой России (и до 20-х годов XX в.) в окнах аптек выставлялись стеклянные шары, наполненные водой, окрашенной в разные цвета (в частности — красный, малиновый). *Сонатина* — уменьшенная и упрощенная соната, предназначавшаяся для «начинающих». *Четвертое сословье* — определение пролетариата, возникшее в западно-европейской политической литературе в 1840-х годах.

124. Альм. «Ковш», 1925, № 1, с. 34, под загл. «Вариант», с обратной последовательностью строф 4 и 5. Печ. по С, с. 183. Строфа 2 совпадает со ст. 9—12, а 3-я — варьирует ст. 5—8 стих. № 123. *Сто лет тому назад. . .* Вероятно, имеется в виду Д. Байрон (1788—1824), принимавший участие в войне за независимость Греции и умерший во время похода.

125. «Ленинград», 1925, № 21 (13 июня), с. 6; «Красная газета» (веч. вып.), 1925, 16 октября, под загл. «Ленинградская зима». Печ. по «Новой России», 1926, № 1, с. 67. В С датировано 1925 годом (дата окончательной редакции). Авториз. список первоначальной-редакции, с датой: 17 декабря 1924.

126. «Ленинград», 1925, № 20 (6 июня), с. 4; «Новый мир», 1927, № 6, под загл. «Цыганка». Печ. по С, с. 187.

127. «Звезда», 1927, № 8, с. 43, под загл. «Из табора улицы темной. . .». Печ. по С, с. 189. Обращено к О. А. Ваксель (1903—1932), знакомой Мандельштама.

128. Печ. впервые по авториз. списку. По свидетельству Н. Я. Мандельштам, написано в 1925 г. Обращено к О. А. Ваксель. *Куколь* — колпак; здесь — конусообразная крыша, башня.

129—140. «Новый мир», 1931, № 3, с. 62, с общей датой: ноябрь 1930. 12 стихотворений, вошедших в этот цикл, были написаны в период с 16 октября по 5 ноября 1930 г., во время пребывания поэта в Тбилиси (помета на авториз. списке стих. «Я тебя никогда не увижу...»). Беловой автограф вступительного четверостишия к циклу, не вошедшего в первопечатный текст (собрание М. А. Зенкевича):

Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд,
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.

В незаконченном стихотворении 1937 г. поэт вспоминал:

...я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

1. Авториз. список с датой: октябрь 1930.

2. Авториз. список первоначальной редакции, с пометой: «Тифлис, 16 октября 1930». Здесь вместо строфы 1:

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

После заключительной строфы:

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

Эти строфы были переработаны (см. примеч. к № 141). *Сардар* — наместник, правитель области. *Каждое слово — скоба*. Ср. в очерке Мандельштама «Путешествие в Армению» (1930—1931): «Вот люди, которые гремят ключами языка...»; «Армянский язык — неизнашиваемый — каменные сапоги» («Звезда», 1933, № 5, с. 106, 121).

3. Авториз. список с пометой: «Тифлис, 21 октября 1930». *Лаваш* — пшеничные пресные лепешки.

4. Беловой автограф с датой: 25 октября.

5. Черновой автограф и авториз. список окончательного текста.

6. Беловой автограф.

7. Черновой автограф и авториз. список окончательного текста. *Развалины* — руины собора (Звартноц) и патриаршего дворца (VII в.) близ Вагаршапата; в «Путешествии в Армению» поэт вспоминает о солнечных часах, которые он «видел на развалинах Звартноца — в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень» («Звезда», 1933, № 5, с. 106).

8. Черновой автограф и авториз. список окончательного текста. *Севан* (Гокча) — высокогорное озеро в Армении. *Сытых форелей усатые морды*. Ср. в «Путешествии в Армению»: «...заспиртованные жандармские морды великаньих форелей» («Звезда», 1933, № 5, с. 106). *Эчмиадзин* — древний армяно-грегорианский монастырь близ Еревана, местопребывание патриарха-католикоса. *Гора* — Арарат. *Окарина* — итальянский народный музыкальный инструмент (флейтообразная дудка).

9. Авториз. список. *Примирившие дьявола и бога*. Имеются в виду курды-езиды; их религиозные воззрения — смесь ислама, христианства и древнеиранского верования в одинаковое могущество доброго и злого начал.

10. Черновой автограф и авториз. список окончательного текста с датой: 24 октября 1930. *Селенье* — село Аштарак. Ср. в «Путешествии в Армению»: «Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе» («Звезда», 1933, № 5, с. 121).

11. Авториз. список с пометой, датирующей период работы над циклом: стих. первоначально было заключительным.

12. Авториз. список.

141. Печ. впервые по авториз. списку. Это стих., примыкающее к циклу «Армения», выделено в качестве самостоятельного произведения из промежуточной редакции стих. «Ты красок себе пожела-ла...» (см. с. 286, примеч. к № 2). Первоначальный вариант заключительной строфы:

Кто ты? Молодая старуха?
Цветной карандаш искроши!
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

142. Печ. впервые по беловому автографу, где записан равноправный вариант ст. 2: «Слепорожденной эмали краса». Примыкает к циклу «Армения». Черновой автограф, в котором последняя строка: «Глина с лазурью, речь и кирпич».

143. Печ. впервые по авториз. списку.

144. «Литературная газета», 1932, 23 ноября, под загл. «Ленинград». Печ. по авториз. списку (1935). Два списка допечатной редакции с авторскими исправлениями — собрание М. А. Зенкевича.

145. «Москва», 1964, № 8, с. 153. Печ. по авториз. списку.

146. «Звезда», 1931, № 4, с. 113, с датой: февраль 1931. Авториз. список первоначальной редакции с датой: январь 1931. *Годива*. По английскому преданию, леди Годива избавила народ от тяжелой подати, согласившись исполнить жестокое требование своего мужа, графа Кевентри: она выехала из замка в город на лошади, нагая, прикрытая только прядями своих волос. Легенда о леди Годиве — сюжет одноименного популярного в дореволюционной России стих. английского поэта А. Теннисона.

147. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 67 (неточный текст). Печ. по авториз. списку (собрание М. А. Зенкевича). Эпиграф — из стих. П. Верлена «Sérénade» («Poèmes saturniens»).

148. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 63. Печ. по беловому автографу. Написано в середине марта 1931 г.

149. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 60. Печ. по авториз. списку. Автограф первоначальной редакции заключительной строфы:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Обними за гордыню и труд —
Потому что не волк я по крови своей
И за мною другие придут.

Автограф всего стих., с тремя вариантами заключительной строфы:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
К шестипалой неправде в избу —
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И слеза на ресницах как лед,
Потому что не волк я по крови своей
И во мне человек не умрет.

В третьем варианте строфы заключительная строка: «И неправдой искривлен мой рот». Авториз. список промежуточной редакции — собрание М. А. Зенкевича.

150. «Москва», 1964, № 8, с. 152. Печ. по авториз. списку. Автограф и два авториз. списка первоначальной редакции. В стих. — пародический «перепев» «Молитвы» Лермонтова:

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:

Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Ср. у Мандельштама (первоначальное чтение):

..Одну сонату вечную
Твердил он наизусть.

151. «Новый мир», 1932, № 6, с. 106, с датой: апрель 1931. Точная дата — в авториз. списке, совпадающем с первопечатным текстом. В авториз. списке допечатной редакции отброшенная строфа (между строфами 3 и 4):

Не прелюды он и не вальсы,
И не Листа листал листы,
В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

Не идет Гора на Жиронду. Имеется в виду борьба монтаньяров с жирондистами в эпоху французской революции 1789 г. *Голиаф* — библейский великан-филистимлянин. *Мирабо* Оноре (1749—1791) — вождь либеральной крупной буржуазии начала французской революции, знаменитый оратор. *Мастер Генрих* — Генрих Густавович Нейгауз (1888—1964), пианист, профессор Московской консерватории.

152. Печ. впервые по беловому автографу (собрание М. А. Зенкевича). Сохранились черновые наброски отдельных строк.

153. «Простор», Алма-Ата, 1966, № 11, с. 110 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Черновой автограф.

154. «Литературная газета», 1932, 23 ноября. Авториз. список с датой.

155. «Простор», Алма-Ата, 1966, № 11, с. 110 (сокращенный, неточный текст). Печ. по авториз. списку. Автограф первоначальной редакции с датой: май — сентябрь 1931 (собрание М. А. Зенкевича). Первая строка стих. перекликается с первой строкой стих. Баратынского «Еще, как патриарх, не древен я. . .». *Дзенькуе* (польск.) — благодарю. *Асти* — итальянские мускатные вина.

156. «Новый мир», 1932, № 4, с. 166. В датированном авториз. списке первоначальный текст двух заключительных строф:

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет
И что еще не народилась стерва,
Которая его перешибет.

Меня хотели, как пылинку, сдунуть, —
Уж я теперь не юноша, не вьон,
Держу пари: меня не переплюнуть,
Я сохранил дистанцию мою.

157. Печ. впервые по беловому автографу (собрание М. А. Зенкевича). Первоначально было заключительной частью стих. «Сегодня можно снять декалькомани. . .». Авториз. список.

158. Печ. впервые по авториз. списку. *Чумный председатель*. Источник образа — трагедия Пушкина «Пир во время чумы». *Правит, душу веселя*. Ср. в стих. А. Н. Майкова «Сенокос»: «В песне душу веселя». *Сорок тысяч мертвых окон*. Осенью 1920 г., во время войны, которую вело с Турцией буржуазно-националистическое правительство Армении (дашнаки), население Шуши было истреблено турецкими войсками, а город был разрушен.

159. «Новый мир», 1932, № 4, с. 166. В датированном авториз. списке первоначального текста отброшена заключительная строфа:

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод, —
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

160. «Новый мир», 1932, № 6, с. 106, с датой: май 1932. Датируется по авториз. списку. Второй авториз. список, с первоначальным вариантом заключительной строфы:

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить на миг,
Позвоночных рвами окружила
И сейчас же отреклась от них.

О французском натуралисте Жане Ламарке (1744—1829) и об эволюционистах как предшественниках Дарвина Мандельштам писал в статье «К проблеме научного стиля Дарвина» («За коммунистическое просвещение», 1932, 21 апреля), а также в «Путешествии в Армению», гл. «Вокруг натуралистов» («Звезда», 1933, № 5). *Кто за честь природы фехтовальщик*. Ср. в главе «Вокруг натуралистов»: «Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках» (с. 118). *На подвижной лестнице Ламарка*. См. в главе «Вокруг натуралистов»: «В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического бытия — ад для человека» (с. 118). *Здесь провал сильнее наших сил*. Ср. в главе «Вокруг натуралистов»: «Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда» (с. 118).

161. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 61, под загл. «Новеллино» (первоначальная редакция). Печ. по авториз. списку. Два авториз. списка первоначальной редакции, озаглавленные «Новеллино» и «Флорентийцы»; из этого текста Мандельштам в 1935 г. отбросил заглавие и 16 начальных строк:

Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери

Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере.
По темно-бархатным лугам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по холмам,
Как маки на дорожках.
Уж эти мне говоруны,
Бродяги флорентийцы, —
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.
Они под звон колоколов
Молились богу спьяну,
Они дарили соколов
Турецкому султану.

Первая строка отброшенного текста стала начальной строкой стих., написанного в сентябре 1935 г.:

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый?
Но всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Веда по кругу споры.

Тема и образы этого стих. связаны со статьей Мандельштама «Разговор о Данте» (1933): «Шаг, сопряженный с дыханьем и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии... У Данта философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах... В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что «бегаёт быстрее». «...Он отвернулся и показался мне одним из тех, которые бегают взапуски по зеленым лугам в окрестностях Вероны, и всей своей статью он напоминал о своей принадлежности к числу победителей, а не побежденных...» Омолаживающая сила метафоры возвращает нам образованного старика Брунетто Латини в виде юноши — победителя на спортивном пробеге в Вероне» («Разговор о Данте», М., 1967, с. 10).

162. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 60, без загл. (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Ср. описание пейзажей французского художника-импрессиониста К. Писсарро (1830—1903) и характеристику его живописной манеры в очерке Мандельштама «Путешествие в Армению» (глава «Французы»): «...серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кебов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах» («Звезда», 1933, № 5, с. 116). Мандельштам имел в виду картины Писсарро «Бульвар Монмартр» и «Площадь Французского театра в Париже», находившиеся в Музее нового западного искусства в Москве (в настоящее время — в Эрмитаже). Первая и заключительная строфы имеют образные па-

раллели в черновой записи Мандельштама (1932): «...сирени Ильде-Франса, сплюсненные из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу, дивные пчелиные сирени, — исключившие... все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, — горели на стене...». Очевидно, поэт имеет в виду картину К. Моне «Сирень на солнце» (Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). См.: «Вопросы литературы», 1968, № 4, с. 189.

163. «Новый мир», 1932, № 6, с. 107. Черновой автограф строфы 3.

164. Печ. впервые по авториз. списку. Автограф первоначальной редакции, где после строфы 1, совпадающей с окончательным текстом, следовала отброшенная строфа:

Пятна жирно-нефтяные
Не просохли в купах лип;
Как наряды тафтяные,
Прячут листья шелка скрип.

Первоначальный вариант строфы, соответствующей строфе 2 окончательного текста:

Тихо шаркают подошвы
Недочитанных стихов,
И плывут без всякой прошвы
Наволочки облаков.

Беловой автограф (июль 1932; собрание А. В. Звенигородского) и второй авториз. список — «промежуточные» редакции. В черновом автографе строфа 4 (заключительная), не вошедшая в последующие редакции:

А еще, богохранима,
На гвоздях торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода.

Эта строфа — пародия на стихи А. С. Хомякова:

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Ерусалима
Шла народная волна.

Дайте Тютчеву стрекозу. Источник этого образа — стих. Тютчева «В душном воздуха молчаньи...»:

В душном воздуха молчаньи,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы... .

Веневитинову — розу. Намек на стих. Веневитинова «Три розы». Ср. также в стих. Дельвига «На смерть Веневитинова»: «Розе подобный красой, как Филомела ты пел». *Перстень* — сердоликовый перстень с еврейской надписью, который Пушкин называл «талисманом» (см. его одноименное стих.).

165. «Новый мир», 1932, № 6, с. 107. Характеристика Батюшкова в первой строфе навеяна его очерком «Прогулка по Москве» (1811). *Батюшков нежный.* Ср. в стих. Е. А. Баратынского «Богдановичу»: «Так нежный Батюшков...». *Со мною живет.* В 1932 г. на стене комнаты Мандельштама висела репродукция автопортрета Батюшкова. По свидетельству С. Липкина, в 1932 г. Мандельштам в ответ на просьбу назвать «любимое стихотворение» назвал «К другу» Батюшкова, прибавив, что он «хотел бы быть автором этого стихотворения». *Дафну поет.* У Батюшкова нет стих., «воспевающего» Дафну. Очевидно, Мандельштам имеет в виду стих. «Источник», обращенное к Зафне. «Персидское» имя Зафна Мандельштам заменил созвучным мифологическим именем. Стих. Мандельштама и «персидская идиллия» Батюшкова написаны одинаковым размером (четырёхударным дактилем). *Говор валов.* Ср. в стих. Батюшкова «Есть наслаждение и в дикости лесов...»: «И есть гармония в сем говоре валов». *Оплакавший Тасса.* Имеется в виду элегия Батюшкова «Умиравший Тасс». *Удивленные брови.* См. портреты Батюшкова работы О. Кипренского.

166—168. Первое стих. (без строф 1—2) и второе, как единое произведение, — «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 69 (искаженный текст). Третье стих. — «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 61 (неточный текст). Печ. по авториз. списку, с датами под вторым и третьим стихотворениями (4 июля и 3—7 июля 1932 г.). В списке второго стих. (дата: 4 июля) строфа 2 подвергнута дальнейшей переработке:

У Некрасова тележка
На торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевои.

Этот вариант был тогда же заменен первоначальным. Автограф первоначальной редакции третьего стих. Пейзажные куски первого стих. и второе стих. перекликаются со стих. Тютчева «Неохотно и несмело...»:

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Всё сердитей и смелей.

В сохранившемся отрывке неопубликованной статьи Мандельштам называет Тютчева «знатоком грозовой жизни». Характеристика стихов Языкова восходит к двум посланиям к нему — Пушкинна («Языков, кто тебе внушил...») и Баратынского («Языков, буйства молодого...»). Ср. также в статье Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Стихи его (Языкова) точ-

но разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху» (Полн. собр. соч., т. 8, М., 1952, с. 388).

169. «Литературная газета», 1932, 23 ноября, с датой: август 1932, и с посвящением Б. С. Кузину. Печ. по авториз. списку. Черновой автограф первоначальной редакции (дата: 8 августа 32 г.) — сонет «Христиан Клейст»:

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Починимся ж серьезности и чести
У стихотворца Христиана Клейста.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И княжества топталися на месте.

Война — как плющ в беседке шоколадной,
И далека пока еще от Рейна
Косматая казацкая папаха.

И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошел и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

Авториз. список промежуточной редакции с вариантами строк 1 и 7:

Когда пылают веймарские свечи
И мошь трещит под колпачком чулочным,
Мне хочется воздать немецкой речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Воспоминаний сумрак шоколадный.
Плющом войны завешан старый Рейн,
И я стою в беседке виноградной
Так высоко, весь будущим прореян.

Заглавие другой промежуточной редакции — «Бог Нахтигаль» (авториз. список). *Я вспоминаю немца-офицера*. Имеется в виду немецкий поэт-идиллик Эвальд Кристиан фон Клейст (1715—1759). Особой известностью пользовалось его стих. «Весна». Клейст служил офицером в прусской армии, участвовал в походах и сражениях и умер от ран, полученных в битве с русскими при Кунерсдорфе (Семилетняя война). *И за эфес его цеплялись розы*. Розы — здесь: идиллии в античном вкусе, символика мирной классической красоты. *Церера* (римск. миф.) — богиня земледелия и плодородия. *Валгалла* — см. примеч. к № 83. *Я дружбой был, как выстрелом, разбужен*. Мандельштам имеет в виду своего друга — биолога Бориса Сергеевича Кузина (1903—1973). 5 апреля 1933 г., посылая М. С. Шагинян рукопись «Путешествия в Армению», Мандельштам писал: «Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний

период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. „зрелого Мандельштама“». *Нахтигаль* (нем.) — соловей. *Пилад* (греч. миф.) — герой, дружба которого с Орестом вошла в поговорку.

170. Печ. впервые по авториз. списку. Первоначальная редакция — сб. «День поэзии», М., 1962, с. 285 (неточный текст). *Ариост* — Лодовико Ариосто (1474—1533), итальянский поэт, автор сказочно-шутливой поэмы «Неистовый Орланд» («Orlando furioso»). *В степи полуденной — кузнецик мускулистый*. Этот образ впервые встречается у Мандельштама в его заметке о стихах Игоря Северянина: «Стих его отличается стальной мускулатурой кузнецика» («Гипербрей», 1913, № 6, с. 28). *И прямо на луну взлетает враль плечистый*. Имеется в виду эпизод поэмы «Неистовый Орланд» — «Путешествие на луну»: на луну был унесен рассудок, утраченный Орландом. *Посольская лиса*. Ариосто выполнял различные дипломатические поручения феррарского герцога в Риме и других итальянских городах. *От ведьмы и судьбы*. Отец Ариосто в течение нескольких лет был судьей феррарского трибунала. *Феррара... на цепи держала*. Имеется в виду итальянский поэт Торквато Тассо (1544—1595), который жил при дворе феррарского герцога Альфонса II. Вследствие придворных интриг Тассо был посажен в сумасшедший дом, откуда его выпустили через семь лет. См. в неопубликованной радиокомпозиции Мандельштама (1935): «...Тассо знает вся Италия. Безумный Тассо, семь лет просидевший на цепи в темнице герцога в Ферраре, тот самый Тассо, которого хотели увенчать лаврами на Капитолии, но не успели — он умер, не дожив. Певец средиземных просторов, он рассказывает, как рубили дерево в заколдованных рощах и строили башни для осады мусульманских городов. Великодушный поэт смешал в одну кучу турок, арабов и европейских крестоносцев. Волшебников и чертей он поставил чуть ли не выше христианского бога и помешался от страха, что церковь и власть объявят его еретиком».

Приводим первоначальную беловую редакцию стих. по авториз. списку (дата: 4—6 мая 1933 г.):

АРИОСТ

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси, —

Он завирается, с Орландом куролеса,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала. . .
Рассказывай еще, — тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души,
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится всё лучше, всё хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг,
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки. . .
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет,
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
. . . И мы бывали там. И мы там пили мед.

Первоначальный текст этой редакции, без последней строфы, с пометой: «Старый Крым. 4 мая 1933». *И деве на скале: лежи без покрывала.* . . Ср. в стих. Пушкина «Буря»: «Ты видел деву на скале. . . С ее летучим покрывалом?» *Наше черноморье.* Стих. было написано во время пребывания Мандельштама в Крыму.

171. «Москва», 1964, № 8, с. 155 (первонач. ред.). Печ. по авториз. списку. В «Москве» строфа 2:

И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг —
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Это и след. стих. входят в цикл. «Восьмистишия» (№№ 1, 6).

172. «Москва», 1964, № 8, с. 155. Печ. по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции.

173. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 59, под загл. «Андрею Белому» (не принадлежащим Мандельштаму; неточный текст). Печ. по авториз. списку. Приводим черновой набросок первоначального варианта (автограф утрачен, список рукой Н. Я. Мандельштам):

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где (— — — —)? Мне что-то невдомек. . .
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж лежок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, ссть причина,
(— — — — —) напутал и уснул.

Сохранился другой список, с поправками поэта, внесенными 11 января 1934 г. (переработка осталась незавершенной). Приводим три двустишия из этого списка (четвертое двустишие не поддается прочтению):

Буду гладить и гладить сухой шевнот обшлага.
Обо всем, обо всех (говорившая) плачет выюга.

Из горячего черепа льется и льется лазурь,
И тревожит она литератора-каинна хмурь.

Выпрямитель сознания еще не рожденных эпох,
Голубая тужурка, немецкий крикун, скоморох.

Написано на смерть Андрея Белого (8 января 1934 г.), с которым в последний период его жизни Мандельштам был в дружественных отношениях. В рецензии на книгу А. Белого «Записки чудака» Мандельштам писал: «Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и сильнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого» («Красная новь», 1923, № 5, с. 400). *Юрода колпак*. Ср. в заключительном стих. А. Белого из цикла «Вечный зов» (1903):

Полный радостных мук,
утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.

Бирюзовый учитель. Бирюзовый — один из излюбленных эпитетов А. Белого. «Гогольком» называл Андрея Белого поэт Вячеслав Иванов (см. в воспоминаниях А. Белого «Начало века», М.—Л., 1933, с. 323). *Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец*. Ср.: «. . . Я — ребенок, отрок, студент, писатель, мировоззритель. . .» (А. Белый, На рубеже двух столетий, М., 1930, с. 234). Строку из незавер-

шенной редакции: *Из горячего черепа льется и льется лазурь* ср. со строкой в стих. А. Белого «На буграх» (1908): «Косматый бог лиет лазурь из чаш».

174. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 64, под загл. «10 января 1934 года» (не принадлежащим Мандельштаму; промежуточная редакция, источник текст). Печ. по беловому автографу (собрание Н. И. Харджиева). Как и предыдущее стих., написано в связи со смертью Андрея Белого. Список первоначальной редакции (дата: 16—22 января 1934 г.). Здесь вместо строф 4 и 5:

Он дирижировал кавказскими горами
И, машучи, ступал на тесных Альп тропы,
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог.
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венки.

Когда душе столь торопкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виоущеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука — первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес смычка,

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна.

Две заключительные строфы:

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенести на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах
И созревающий, и тянущийся весь —
Доколе не сорвусь — разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

Два списка (промежуточные редакции). В одном из них — первоначальный вариант строфы 4 и две последующие, не вошедшие в окончательный текст:

Ему солей трехъярусных растворы,
И мудрецов германских голоса,
И русские блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всходы
Его ступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвление
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венки.

Гравер — В. А. Фаворский, сделавший рисунок «Андрей Белый в гробу» (собрание К. Н. Бугаевой).

175. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 68, без заключительной строфы. Печ. по авториз. списку.

176. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 94. Печ. по авториз. списку (рукой С. Б. Рудакова). В «Подъеме» ошибочно отнесено к стихам воронежского периода. Написано в Москве.

177. «Комсомольская искра», Одесса, 1966, 6 марта. Печ. по авториз. списку. Тематически и конструктивно связано со стих. № 178. *Исакий* — Исаакиевский собор в Ленинграде. *Шарманщика смерть*. Имеется в виду песня Шуберта «Шарманщик». *Выжлятник* — старший псарь (в псовой охоте). *Движенье, движенье, движенье*. Имеется в виду песня Шуберта «В путь» (из цикла «Прекрасная мельничиха»).

178. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 95 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции. На списке окончательной редакции две даты: 3 июня 1935 и 14 декабря 1936 (дата исправления). Написано под впечатлением известия о смерти О. А. Ваксель, покончившей самоубийством в Осло в 1932 г. *И прадеда скрипкой гордился твой род*. Имеется в виду А. Ф. Львов (1798—1870), композитор и скрипач. *Миньона* — героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». См. в неопубликованной радиокомпозиции Мандельштама «Молодость Гете» (1935): «Маленькая дикарка с арфой — Миньона. Южанка, потерявшая свою родину, воплощение тоски по цветущему югу...» Ср. первоначальный вариант двух заключительных строк этого стих.:

Могилы твоя в скандинавском снегу
И Гете манившее лоно.

179. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 69 (неточный текст). Печ. по беловому автографу. Беловой автограф первоначальной редакции.

180. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 64. Печ. по авториз. списку. Ст. 4 и 5 совпадают со ст. 13—14 стих. № 179. *Небо — твой Буонаротти!* Уподобление очертаний облаков монументальным скульптурам Микеланджело Буонаротти (1475—1564).

181. Печ. впервые по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции с заключительной строкой: «Только смерть да лавочка близка».

182—183. 1. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 63 (первоначальная редакция). Печ. по беловому автографу. Датируется по авториз. списку.

2. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 63 (неточный текст). Печ. по беловому автографу. Датируется по авториз. списку.

184. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 95, под загл. «Скрипачка» (не принадлежащим Мандельштаму; неточный текст). Печ. по авториз. списку. Написано в связи с концертом скрипачки Г. Барановой в Воронеже (5 апреля 1935 г.). *Паганини* Николо (1784—1840) — итальянский скрипач-виртуоз.

185. Печ. впервые по беловому автографу.

186. Сб. «День поэзии», М., 1962, с. 286. Печ. по беловому автографу. Беловой автограф первоначального варианта (дата: май 1935 г.) — четверостишие:

Там деготь прогудел, лазурью шевеля:
Пусть шар земной положит в сетку школьник.
На Красной площади всего круглей земля,
Покуда на земле последний жив невольник.

Авториз. список промежуточной редакции (рукой С. Б. Рудакова), с датой: 18 мая 1935 г.

187. Сб. «День поэзии», М., 1962, с. 285 (неполный текст). Печ. по авториз. списку. Датируется по авториз. списку первоначальной редакции. Начальные строки строфы 7 перекликаются с ответом Мандельштама на анкету «Советский писатель и Октябрь»: «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту... Чувствую себя должником революции...» («Читатель и писатель», 1928, 18 ноября, с. 3). *Еще побыть и поиграть с людьми*. Ср. начальные строки стих. Тютчева:

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми...

Лорелея. С образом русалки Лорелеи связан ряд произведений немецкой поэзии и музыки, в том числе знаменитое стих. Гейне.

Садовник и палач — Гитлер, занимавшийся на досуге садоводством.

188. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 94. Печ. по авториз. списку. Датируется по другому авториз. списку, почти совпадающему с окончательным текстом. Тема и образы стих. навеяны фильмом «Чапаев» (1934).

189. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 85. Печ. по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции.

190. «Москва», 1964, № 8, с. 155. Печ. по авториз. списку, где рукой поэта вписан окончательный текст строфы 3 и сделана помета: «Оконч(ено) 27 декабря 36. Воронеж» (ЦГАЛИ). Авториз. списки двух первоначальных редакций. Варианты последней строфы:

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

И распрыгался черничной дробью,
Мечет ягодками глаз.
Я откликнусь своему подобью:
Жить щеглу — вот мой указ!

По сообщению Н. Я. Мандельштам, сын хозяйки дома, в котором жил поэт в Воронеже, был любителем птиц.

191. «Простор», Алма-Ата, 1966, № 11, с. 110 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. *Честь Рюисдалевых картин*. Имеются в виду пейзажи голландского художника Я. Рейсдаля (1628—1682).

192. «Москва», 1964, № 8, с. 153. Печ. по авториз. списку. В стих. отразились впечатления, связанные с поездкой в с. Воробьевку, районный центр Воронежской обл. (по поручению редакции газеты «Воронежская коммуна»). Первоначальная редакция (авториз. список):

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов.
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Или Цны — реки обычной
Белый, белый, бел-покров?

Или я в полях совхозных —
Воздух в рот и жизнь берет,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон.

Анна, Россошь и Гремячье —
Процветут их имена, —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна...

Заключительная часть стих. («Где я?..») первоначально была самостоятельным произведением. *Я люблю ее рисунок*. По сообщению Н. Я. Мандельштам, на воронежской телефонной станции висела карта Воронежской области, в очертаниях которой поэт находил сходство с Африкой. *Снегом пышущий Тамбов*. В декабре 1935 г. Мандельштам был в санатории в Тамбове, откуда писал жене: «Здесь... зимний рай, красота неописанная... Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляет глубокое наслаждение». *Это мачеха Кольцова*. А. В. Кольцов родился и умер в Воронеже.

193. «Москва», 1964, № 8, с. 154 (неточный текст). Печ. по авториз. списку.

194. «Москва», 1964, № 8, с. 154. Печ. по авториз. списку.

195. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 69 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции. Обращено к Н. Я. Мандельштам.

196. Печ. впервые по авториз. списку. *Ягненок гневный*. Имеется в виду младенец («агнец») на картине Рафаэля «Сикстинская мадонна».

197. Печ. впервые по авториз. списку.

198. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 85 (неточный текст). Печ. по авториз. списку.

199. Печ. впервые по авториз. списку.

200. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 70. Печ. по авториз. списку. *Тоскана* — область в центральной части Италии (главный город — Флоренция).

201. «Москва», 1964, № 8, с. 155 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции. Через день после написания этого стих. Мандельштам писал Ю. Н. Тынянову: «...Последнее время я становлюсь понятен решительно всем... Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на

русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

202. Печ. впервые по авториз. списку.

203. Печ. впервые по списку с авторской пометой: «Это окончательный текст. О. М.» (ЦГАЛИ). Авториз. список первоначальной редакции с датой: 21 января 1937 г. В первой строфе — воспоминание о Ленинграде. *Алигьери — Данте Алигьери*.

204. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 70 (неточный текст). Печ. по авториз. списку (ЦГАЛИ).

205. «Комсомольская искра», Одесса, 1966, 6 марта (неточный текст). Печ. по авториз. списку.

206. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 61. Печ. по авториз. списку.

207. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 97. Печ. по авториз. списку.

208. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 70 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Вызвано воспоминанием о Тбилиси, где поэт был в 1920, 1921 и 1930 гг. *Давид-гора* — гора Мтацминда в Тбилиси, на которой расположен монастырь св. Давида.

209. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 62 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. Автограф первоначальной редакции — ЦГАЛИ.

210. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 64. Печ. по авториз. списку.

211. Печ. впервые по авториз. списку. Авториз. список первоначальной редакции. *Густого голоса низинами*. Имеется в виду Марлон Андерсон, известная американская певица.

212. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 59 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. *Улица июльская*. Намек на июльскую революцию 1830 г. *На шарнирах он куражится с цветочницею*. Имеется в виду фильм Чаплина «Огни большого города» (1931). *С розой на груди в двухбашенной испарине*. «Архитектурный» образ — двухбашенные готические соборы Франции; роза — каменный орнамент, заполняющий круглое окно собора.

213. Печ. впервые по беловому автографу, с пометой: «Реймс — Лаон». Реймс и Лаон (Лан) — французские города, известные своими готическими соборами. Это стих. завершает «архитектурный» цикл, начатый в сборнике «Камень».

214. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 94 (неточный текст). Печ. по авториз. списку.

215. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 72 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. *Мост Ангела* — в Риме. *Ночь. Давид и Моисей* — статуи работы Микеланджело Буонаротти. *Моисей водопадом лежит*. Неточность: статуя Микеланджело изображает сидящего Моисея; у него косматые волосы и длинные волнообразные пряди бороды (отсюда образ водопада). *Диктатор-выродок* — Муссолини.

216. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 60 (неточный текст). Печ. по авториз. списку. В автографе первоначальной редакции строфа 1:

Одинокое небо виднее, —
Как недугом, я пьян им в судьбе,
Но оно западня: в нем труднее
Задышаться, чернеть, голубеть.

Дантовых девять Атлетических дисков. В поэме Данте «Божественная комедия» ад разделен на девять кругов, в каждом из которых находится особый разряд грешников. По свидетельству А. А. Ахматовой, Мандельштам «в 1930-х годах страницами читал наизусть терцины «Божественной комедии» (по-итальянски)».

217. Печ. впервые по авториз. списку. Ст. 1—4 совпадают с первой строфой стих. № 216.

218. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 72 (контаминированный текст). Печ. впервые по авториз. списку. Авториз. списки двух первоначальных редакций с вариантами строфы 3:

Он только тем хорош,
Он только тем и мил,
Что будит к танцу дрожь, —
Румянец звездных сил.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шепотом могу
И лепетом согрет.

219. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 96 (неточный текст). Печ. по беловому автографу. Беловой автограф первоначальной редакции.

220. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 63. Печ. по авториз. списку. По сообщению Н. Я. Мандельштам, связано с воспоминаниями о пребывании в Киеве в 1919 г., во время эвакуации Красной Армии. Эти воспоминания были вызваны сборником стихов Н. Ушакова «Киев», изданным в Киеве в 1936 г. *Вий* — фантастический образ из одноименной повести Гоголя. *Купеческий* — б. Купе-

ческий сад в Киеве. *Господские Липки* — аристократический район в дореволюционном Киеве.

221. «Простор», Алма-Ата, 1965, № 4, с. 62. Печ. по беловому автографу. Черновой автограф и авториз. список — собрание Н. Е. Штемпель. Обращено к Н. Е. Штемпель, воронежской знакомой поэта, преподавательнице русской литературы. В строфе 5 — пример смысловой мотивировки ритмического сдвига: синкопированный ход дает ритмическое изображение «запнувшейся» зарницы. Конструктивно и стилистически стих. близко к «Песне» Некрасова (в «Медвежьей охоте»):

.. Пусть и я сломлюсь от горя,
Не жалей ты дочку!
Коли вырастет у моря —
Не спасись цветочку..

222. «Подъем», Воронеж, 1966, № 1, с. 93 (неточный текст). Печ. по беловому автографу.

223—224. «Литературная Грузия», 1967, № 1, с. 73 (неточный текст). Печ. по беловому автографу. Автограф первоначальной редакции. Обращено к Н. Е. Штемпель.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОПЕДШЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

225. Печ. впервые по беловому автографу, с пометой: «Paris, 20.IV.1908». *Сайма* — озеро в Финляндии.

226. Печ. впервые по автографу, с пометой: «Ранние стихи», «Стихи мои старые» и с датами: 1909? 1908? Датируется по авториз. списку.

227. К2, с. 7.

228. «Голос жизни», 1915, № 25 (17 июня), с. 13. В авт. сборники не включалось. Беловой автограф и датированный авториз. список.

229. «Аполлон», 1910, № 9 (июль-август), с. 6. Печ. по беловому автографу (ПД, архив М. В. Аверьянова). В авт. сборники не включалось.

230. Печ. впервые по беловому автографу (Рукоп. отд. Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, архив Вяч. Иванова). Там же — беловой автограф первоначальной редакции, посланный Мандельштамом В. Иванову 13/26 декабря 1909 г. (из Гейдельберга). Мандельштам писал: «Дорогой Вячеслав Иванович! Это стихотворение хотело бы быть «*gomanes sans paroles*» (Dans l'interminable *epi. . .*). «*Paroles*» — т. е. интимно-лирическое, личное — я пытался сдержать, обуздать уздой ритма. Меня занимает, достаточно ли

крепко взнудано это стихотворение? Невольно вспоминаю Ваше замечание об анти-лирической природе ямба. Может быть, анти-интимная природа? Ямб — это узда „настроения“». Здесь Мандельштам имеет в виду стих. П. Верлена «Dans l'interminable ennui...» (в его книге «Romances sans paroles»).¹ Авториз. список окончательной редакции.

231. Печ. впервые по беловому автографу, с пометой: «Гельсингфорс, май 1910».

232. Печ. впервые по беловому автографу. Написано летом 1910 г. (запись в дневнике С. П. Каблукова от 18 августа 1910 г.). Беловой автограф первоначальной редакции — архив С. П. Каблукова.

233. «Литературный альманах» (изд. «Аполлона»), 1912 (вышел в ноябре 1911 г.), с. 40, без загл. Печ. по К1, с. 10. Беловой автограф первопечатного текста. *Я не хочу души своей излучин.* Ср. в «Незнакомке» Блока: «И все души моей излучины...»

234. К2, с. 19.

235. «Аполлон», 1911, № 5, с. 32 (в цикле стихотворений, написанном в 1910 г.). В авт. сборники не включалось.

236. «Голос жизни», 1915, № 25 (17 июня), с. 13. Список первоначальной редакции, с пометой С. П. Каблукова о том, что стих. написано в Целендорфе (близ Берлина) в 1910 г. (запись в дневнике от 24 октября 1910 г.). В авт. сборники не включалось.

237. Печ. впервые по беловому автографу. Написано в 1910 г.

238. Печ. впервые по беловому автографу (с датой: июль 1911).

239. Печ. впервые по беловому автографу (с датой: июль 1911), Автограф первоначальной редакции — начало последней строфы:

Юдольной жизнью не дорожи, художник,
Росою бытия печаль свою считай.

240. Печ. впервые по автографу (с датой: 7 августа 1911).

241. «Литературный альманах» (изд. «Аполлона»), 1912, с. 41. Беловой автограф с ошибочной датой: август 1910. Написано в августе 1911 г. Правильная дата — на авториз. списке (1911). В авт. сборники не включалось.

¹ «В безысходной тоске...» (сб. «Романсы без слов») (франц.). — Ред.

242. Печ. впервые по авториз. списку. Здесь между строфами 2 и 3 отброшенная строфа:

Как будто хрупких тел томленье
И глянec гускльх вод — мое
До боли острое мгновенье
И неживое бытие.

243. «Рубикон», 1914, № 3, 14 февраля, с. 10. Автограф без загл., с датой: 16 июня 1912. Первоначальный вариант строфы 1:

Когда шарманщика терпенье
Чудовищно, и сквозь плетень
Мелькает ящик, — наважденье
Осеннюю тревожит сень.

В авт. сборники не включалось.

244. «Гиперборей», 1913, № 8 (октябрь), с. 23. Печ. по К2, с. 34. Беловой автограф — архив М. Л. Лозинского. Ст. 3 и 4 строфы 1 перекликаются со стих. Тютчева «С горы скатившись, камень лег в долине. . .».

245. К1, с. 17, с посвящением Георгию Иванову. Печ. по авториз. списку 1927 г. (собрание Е. М. Глинтерн); Мандельштам предполагал включить это стих. в С. Автограф допечатной редакции. В К1 строфа 1:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло. . .
Поедем в Царское Село!

В К2 ст. 2 искажен военной цензурой (вместо «пьяны» — «рьяны»).

246. «Гиперборей», 1912, № 3 (декабрь), с. 10. В авт. сборники не включалось. *Скиния* — см. примеч. к № 60.

247. «Гиперборей», 1912, № 3 (декабрь), с. 10. В авт. сборники не включалось.

248. «За 7 дней», 1913, № 21 (27 июня), с. 454, с датой: июнь 1913. В авт. сборники не включалось.

249. «За 7 дней», 1913, № 22 (4 июля), с. 474, с датой: июнь 1913. В авт. сборники не включалось.

250. «За 7 дней», 1913, № 35 (3 октября), с. 738, с датой: июнь 1913. В авт. сборники не включалось.

251. «Аргус», 1913, № 7, с. 78. Написано, вероятно, в июне 1913 г. В авт. сборники не включалось.

252. «Альманах муз», 1916, с. 111, с датой: 1913. Печ. по Т, с. 49 (с исправлением ст. 2 по первопечатному тексту). Автограф первоначальной редакции, с датой: 10 ноября (1913). Первоначальный текст строфы I:

От легкой жизни мы сошли с ума,
От радости безумной поседели, —
Пора, пора остановить качели,
Пока совсем не восцарилась тьма.

Сюжет и образы этого стих. перекликаются со стих. А. Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...», написанным в январе 1913 г. *Пьяная чума* — образ, связанный с трагедией Пушкина «Пир во время чумы». В заключительных стихах имеется в виду поэт-акмеист Георгий Иванов.

253. «Рудин», 1916, № 7 (март), с. 6. Датируется по авториз. списку первоначальной редакции. В авт. сборники не включалось. Обращено к Ларисе Рейснер.

254. «Гиперборей», 1913, № 8 (октябрь), с. 24. Печ. по авториз. списку. В авт. сборники не включалось.

255. «Новый Сатирикон», 1914, № 28—29 (17 июля), с. 7. Авториз. список. Написано летом 1913 г. В авт. сборники не включалось.

256. «Новый Сатирикон», 1914, № 30 (24 июля), с. 3. Печ. по беловому автографу, с датой. В авт. сборники не включалось. В автографе многоотъем заменен конец последней строки («и враги»). Ср. аналогичный примс в стих. № 14, где еще более резко обрывается заключительная стиховая фраза. *Юдифь* — по библейскому сказанию — красавица иудейка, освободившая свой народ от ассирийского гнета: проникнув в шатер полководца *Олоферна*, она напоила его вином и отрубила ему голову. По свидетельству В. Пяста, образ Юдифи у Мандельштама «был вызван одной из постоянных посетительниц» артистического подвала «Бродячая собака» (В. Пяст, *Встречи*, М., 1929, с. 255). Образ Юдифи находится в прямой зависимости от картины Джорджоне (1478—1511), хранящейся в Эрмитаже: Юдифь, попирающая ногой отрубленную голову Олоферна. Эта картина упоминается в повести Мандельштама «Египетская марка» (Л., 1928, с. 42).

257. Печ. впервые по беловому автографу (ПД, архив М. В. Аверьянова). В воспоминаниях В. Пяста это стих. ошибочно названо «Футболом первым» («Встречи», М., 1929, с. 255).

258. Печ. впервые по беловому автографу (ПД, архив М. В. Аверьянова). Отброшенное заглавие: «Дворцовая площадь». Это стих. Мандельштам включил в К2, но оно было изъято цензурой (запись в дневнике С. П. Каблукова от 30 декабря 1915 г.). *Арлекин* — император Павел I. *Александр* — император Александр I.

259. Печ. впервые по беловому автографу (ПД, архив М. В. Авсрьянова).

260. Печ. впервые по авториз. списку.

261. К2, с. 63, с неправильной датой: 1913. Автограф под загл. «Рим», с разночтениями и с датой: 1914. *Авентин* — см. примеч. к № 268. *Дванадцатые праздники* — двенадцать праздников в году, посвященных Христу и богородице; устанавливались по солнечному календарю и поэтому не были связаны с определенными днями. *Канонические луны* — лунный календарь, также состоявший из двенадцати месяцев и устанавливавшийся по-разному, в зависимости от воли жрецов.

262. К2, с. 70. *Сумароков А. П. (1717—1777)* — поэт и драматург, прозванный современниками «Русским Расином». *Как царский посол* и т. д. Имеется в виду библейское предание о процветшем желе первосвященника Аарона. *Скиния* — см. примеч. к № 60. *Озеров В. А. (1769—1816)* — драматург, автор трагедий «Фингал», «Полуксена», «Димитрий Донской» и др.

263. «Голос жизни», 1915, № 25, с. 13. Печ. по «Новому Сатирикону», 1916, № 27, с. 8. Написано в первой половине 1914 г. В авт. сборники не включалось.

264. «Аполлон», 1914, № 6—7 (август-сентябрь), с. 12, под загл. «Перед войной». В К3 и С — под загл. в виде ошибочной даты: «1913». Печ. по К2, с. 65. Беловой автограф первопечатного текста, с датой: 1914 — архив М. Л. Лозинского. *Капитолий* — один из семи холмов, на которых расположен Рим, с сохранившимися до нашего времени остатками древнеримской крепости. *Недоносок* — Виктор-Эммануил III, король Италии (1900—1946); отличался малым ростом.

265. Сб. «Петроградские вечера», 1915, № 4, с. 81, и «Аполлон», 1915, № 4—5, с. 85. Беловой автограф первоначальной редакции с пометой М. Л. Лозинского: «О. Э. Мандельштам, недовольный первой редакцией стихотворения, свел его к восьмистишию» (архив М. Л. Лозинского). Мандельштам отбросил две начальные строфы:

Шатались башни, колокол звучал —
Друг горожан, окрестностей отрада,
Епископ все молитвы прочитал,
И рухнула священная громада.

Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога,
Пока не разорвется олифан.
Нельзя судить бессмысленный таран
Или германцев, позабывших бога.

См. примеч. к № 271. Авториз. список окончательной редакции, с датой: сентябрь 1914. В авт. сборники не включалось. «Что сотворили вы над реймским братом?» Реймский собор был разрушен во время первой мировой войны.

266. «Невский альманах (Писатели и художники жертвам войны)», 1915, с. 58. Вошло в К2. Беловой автограф под загл. «К энциклике папы Бенедикта XV», с датой: сентябрь 1914 — ПД, архив П. Е. Щеголева. Второй беловой автограф, с датой. Написано в связи с энцикликой новоизбранного папы Бенедикта XV ко всем воюющим державам, имевшей целью укрепить влияние папства не только в католических странах, но и в странах «иных исповеданий». *Энциклика* — папское послание «ко всему миру» («urbi et orbi»).

267. Т, с. 64. Датируется на основании записи в дневнике С. П. Каблукова (от 24 июня 1915 г.). Датированный список (1915). *Евхаристия* — церковный обряд причащения.

268. КЗ, с. 84. Авториз. список первоначальной редакции, с датой: 1915 г., август. Вариант строфы 1:

Обиженно уходят на холмы
Плебен, и о Риме семихолмном
Тоскуют овцы и по черным волнам
Земли кочуют в океане тьмы.

Далее следуют в обратном порядке строфы 3 и 4, совпадающие с окончательным текстом. Строфа 4 (заключительная):

Они покорны чуткой слепоте,
Они — руно косноязычной ночи,
Им солнца нет: слезящиеся очи
Им — зренье старца — светят в темноте.

Беловой автограф первопечатного текста — архив М. Л. Лозинского. *Халдеи* — народ семитического происхождения, живший на побережье Персидского залива и занимавшийся скотоводством (XI—VII вв. до н. э.). *Авентин* — один из семи холмов, на которых расположен Рим; сюда уходили плебен во время борьбы с патрициями.

269. «Аргус», 1917, № 4, с. 91. Датируется по авториз. списку. Мандельштам включил это стих. в К2, но оно было изъято цензурой (запись в дневнике С. П. Каблукова от 30 декабря 1915 г.). 30 января 1916 г. поэт записал текст стих. в альбоме А. И. Ходасевич, под загл. «Зимний дворец» (ЦГАЛИ). В авт. сборники не включалось. *Виссон* — драгоценная ткань. *Столпник-ангел* — статуя ангела, увенчивающая Александровскую колонну на Дворцовой площади в Ленинграде. *Черно-желтый лоскут* — штандарт, императорское знамя (желтое, с черным двуглавым орлом).

270. «Альманах муз», 1916, с. 112, с датой: 1916. Авториз. список под загл. «Москва», с пометой: «1916, февраль, Москва». Беловой автограф. Вошло в Т. По свидетельству М. Цветаевой, стих. посвящено ей (запись Цветаевой на экз. Т, датированная 3 мая 1941 г.). *Печаль меня снедала*. Ср. в стих. Пушкина «Ты вянешь и мслчишь...» (перевод элегии А. Шенье): «...Печаль тебя снедает».

Крюки — ноты в древней России. *Успенье нежное* — *Флоренция в Москве* — Успенский собор, построенный (1475—1479) итальянским архитектором Фиоравенти. *Аврора* (римск. миф.) — богиня утренней зари. Ср. в стих. Ю. Анисимова «Архангельский собор»: «С Флоренцией сроднив Москву» (сб. «Обитель», М., 1913, с. 61).

271. Т, с. 44. Авториз. список, с датой: апрель 1916 г. В первой половине мая 1916 г. С. П. Каблуков послал список этого стих. Д. А. Черкесову (запись в дневнике Каблукова). Черновой автограф с вариантами строф 1, 2 и заключительной:

Как пахнут тополя — мы пьяны.
Когда качается земля,
Не ради смуты мы смутьяны
На черной площади Кремля.

Соборов восковые лики
Спят; и разбойничать привык
Без голоса Иван Великий,
Как виселица, прям и дик.

• • • • •

Архангельский собор — виденье,
Успенский — если хочешь, тронь!
И всюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

272. «Камена», Харьков, 1918, № 1, с. 9. Авториз. список с пометой: «1916, осень». Вошло в Т и КЗ. *Тинатина* — грузинское имя; по сообщению В. М. Жирмунского, имеется в виду Тинатина Джорджадзе, знакомая Мандельштама.

273. «Художественная мысль», Харьков, 1922, № 1 (18 февраля), с. 10, под загл. «Дом актера». Печ. по альм. «Трилистник», 1922, с. 60. В авт. сборники не включалось. Написано в Феодосии летом 1920 г., в связи с открытием артистического кафе; по свидетельству Э. Л. Миндлина, было прочитано актером с эстрады «в переполненной врангелевцами Феодосии незадолго до ареста Мандельштама» (Эм. Миндлин, Необыкновенные собеседники, М., 1968, с. 88).

274. Т, с. 74. Печ. по газ. «Накануне», Берлин, 1922, 28 мая (лит. прилож. № 5). Написано весной 1921 г., переработано в апреле-мае 1922 г. Авториз. список окончательной редакции — ЦГАЛИ. В Т ст. 1—5:

Исакий под фатой молочной белизны
Стоит седою голубятней,
И посох бередит седья тишины
И чин воздушный, сердцу вятный.

Столетних панихид блуждающий призра́к,

Седьмя тишины, Великопостныя седмицы — старинная форма родит. падежа ед. числа прилагательных женск. рода.

275. Сб. «Лёт», М., 1923, с. 24; здесь — как два отдельных стихотворения: «Война. Опять разногласица. . .» и «Давайте слушать грома проповедь. . .»; из текста второго стих. было выделено в качестве самостоятельного произведения стих. № 122. Печ. по «Новому миру», 1929, № 4, с. 41 (отброшено загл. «А небо будущим беременно. . .», данное редакцией). Два авториз. списка: самая ранняя редакция и окончательный текст (с первоначальным вариантом ст. 1). В авт. сборники не включалось. Стих. находится в некоторой зависимости от «социально-утопической» поэмы Хлебникова «Ладомир», 1920 г. (синтаксическое напряжение стиха, «космические» образы, типичный для поэтической системы Хлебникова неологизм «земляне»).

ИЗ СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Старофранцузский эпос

276. «Россия», 1923, № 5 (январь), с. 3; альм. «Наши дни», 1923, № 3, с авторским примечанием: «В основу положен отрывок из старофранцузского эпоса — geste de „Doon de Moynce“». Печ. по КЗ, с. 75 (с авторским подстрочным примечанием: «По старофранцузскому эпосу»), с исправлением ст. 69 и 72 по альм. «Наши дни». Авториз. список первоначальной редакции вступительной части стихотворения. Сохранилась часть верстки (с. 81—84) сборника С, где за стих. «Аббат» следует сокращенный текст стих. «Сыновья Аймона» (отсутствуют ст. 3—6, 27—32, 56—64; загл. зачеркнуто и рукой Б. Лившица вписано новое: «Подражание старофранцузскому»), с авторской правкой (восстановлен текст ст. 56—58) и с пометой (другой рукой): «Поставить это стихотворение после стихотворения «Нашедший подкову», с. 168» (ГПБ). Из окончательного состава С этот текст был исключен Мандельштамом. «Четыре сына Аймона» входят в средневековый эпический цикл о Дооне Майнцском (непокорные вассалы, воюющие с королем). В 1909—1910 гг. Мандельштам «в течение полугода изучал романские наречия» в Гейдельбергском университете (запись в дневнике С. П. Каблукова от 18 августа 1910 г.). *Меуза* — река, протекающая во Франции, Бельгии и Голландии. *Арденны* — область в северо-восточной Франции. *Роланд* — легендарный герой старофранцузской поэмы «Песнь о Роланде» (XII в.). В битве под Ронсевалем Роланд с такой силой трубил в свой олень (рог из слоновой кости), что на губах героя выступила кровь.

Жан Расин

277. КЗ, с. 90. Перевод диалога Ипполита с его воспитателем Тераменом из трагедии Ж. Расина «Федра» (д. 1, явл. 1). По сообщению Н. Я. Мандельштам, поэт получил предложение перевести трагедию Расина полностью, но был переведен только отрывок.

В статье «О природе слова» (1922) Мандельштам писал: «Ныне ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на „Федре“...» («О поэзии», Л., 1928, с. 44). См. примеч. к № 69. *Ахерон* — река в северной Греции. Из-за своих пустынных угрюмых берегов считалась в греческой мифологии одной из рек подземного царства мертвых. *Эвлида* (точнее — Авлида) — гавань в Беотии. *Тенара* — древнее название мыса Матапан; здесь была пещера с пропастью, которая считалась входом в подземное царство.

Огюст Барбье

278. «Прожектор», 1923, № 13 (15 августа), с. 26. В авт. сборники не включалось. Перевод стих. «La Cigée» (сб. «Ямбы», 1831; «La Cigée» — охотничий термин: отдача собакам на съедение части убитого зверя). В журнальном тексте перевода — ряд пропусков и искажений. Редактором настоящего издания внесена поправка в ст. 1 гл. 2: «в льняном белье» вместо «с льняным бельем». В ст. 3 гл. 3 исправлена ошибка, разрушающая ритм: «бровкою» вместо «бровью». В гл. 4 союз «и» из ст. 9 ошибочно попал в начало ст. 6. В тексте гл. 6 отсутствует ст. 24, место которого отмечено здесь многоточием. Сохранился сборник стихотворений Барбье «*Iambes et roëmes*» (Р., 1858) с многочисленными пометами Мандельштама, связанными с работой над переводами (собрание Е. Я. Хазина). В качестве предисловия к переводу в «Прожекторе» была помещена статья Мандельштама «Огюст Барбье (поэт парижской революции 1830 г.)», содержащая ценный комментарий: «За несколько дней до появления в «Парижском обозрении» знаменитого стихотворения Барбье «Собачья склока» журналист Жирарден писал: «Две недели назад — были днями народного мятежа, минутами храбрости и энтузиазма. Теперь — возмущение совсем другого рода, восстание всех добывающихся места. Они бегут впереди с такой же пылкостью, с какой народ бросался в битву. С семи часов утра батальоны одетых во фракки кидаются во все стороны столицы... Пешком, на извозчике, в кабриолетах, — потные, задыхающиеся, с кокардой на шляпах и с трехцветными лентами в петлицах, — вы видите всю эту толпу, которая надвигается на дворцы министров, врывается в передние, осаждают дверь кабинета и т. д. ...» Литературные враги Барбье после напечатанья «Собачьей склоки» обвиняли его в заимствовании, чуть ли не пересказе этой газетной статьи. Но нам кажется, что умение использовать злобу газетного дня для своего вдохновения ничуть не умаляет, а лишь увеличивает заслугу поэта». Здесь и в примеч. к №№ 279—280 цитируется по сохранившемуся полному тексту статьи.

279. «Пролетарская правда», Киев, 1924, 6 января; «Накануне», Берлин, 1924, 17 февраля («Лит. неделя»), под загл. «Кобыла», данным редакцией. Печ. по «Красному журналу для всех», 1924, № 3, с. 166. В авт. сборники не включалось. Вольный перевод (с незначительными пропусками) гл. 3 сатиры «L'Idole» (сб. «Ямбы», 1831). В своей статье о Барбье Мандельштам упоминает этот стих. под загл. «Истукан» (более точный перевод заглавия — «Кумир»):

«. . .особняком стояли два последние стихотворения, направленные против культа Наполеона, — «Популярность» и «Истукан». В ненависти своей к Наполеону Барбье одинок во всей романтической школе. Для Наполеона прибегает он самые сокрушительные дантовские образы. Для него Наполеон еще жив. Яд наполеоновского культа, разлагающий демократию того времени, яд, приготовленный в лабораториях лучших поэтов, он рассматривал как опаснейший токсин». *Мессидор* — десятый месяц французского республиканского календаря (1793—1805 гг.), соответствовавший 19 июня — 18 июля. *Ясь* — укороченная форма слова «ясность». *Овиди* — кругозор, край земли.

280. «Звезда», 1924, № 2, с. 147. Печ. по «Накануне», Берлин, 1924, 9 марта («Лит. неделя»). В авт. сборники не включалось. Вольный перевод гл. 5 (заключительной) сатиры «La Popularité» (сб. «Ямбы», 1831). В статье о Барбье Мандельштам писал: «Какими способами, какими средствами художественной выразительности достиг Барбье ошеломляющего впечатления на современников? Во-первых, он взял мужественный стих ямбов, как это раньше сделал Шенье, стих, стесненный размером с энергичными ударениями, приспособленный для могучей ораторской речи, для выражения гражданской ненависти и страсти. Во-вторых, он не стеснялся приличиями литературного языка и умел сказать грубое, хлесткое и циничное слово, что было вполне в духе французского романтизма, боровшегося за свежий и обновленный поэтический словарь. В-третьих, Барбье оказался мастером больших поэтических сравнений, как бы предназначенных для ораторской трибуны. . . Но в поэзии Барбье нас пленяет даже не страсть, не буйство образа, а одна почти пушкинская черта — умение одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления». *Моряна* — ветер с моря. *Светлана*. Поэтическая вольность: имеется в виду героиня одноименной баллады В. А. Жуковского. *Корибанты* (греч.) — жрецы Реи, матери Зевса. Совершая ритуальные пляски, они доводили себя до исступления.

281. «Звезда», 1924, № 2, с. 145. В журнальном тексте в ст. 36 отсутствует рифмовое слово, восстановленное здесь по указанию Н. Я. Мандельштам. В авт. сборники не включалось. Вольный перевод стих. «Le Gin» (сб. «Лазарь», 1837). Стих. было написано Барбье в связи с его поездкой в Англию, где он ознакомился с бытом и нравами обитателей лондонских трущоб. Русские переводчики 1860-х годов сопоставляли «Джин» Барбье с сатирическими гравюрами Хогарта.

282. «Звезда», 1924, № 3, с. 94. В авт. сборники не включалось. Перевод вступительной части стих. «L'émeute» (сб. «Ямбы», 1831).

283. Альм. «Наши дни», 1924, № 4, с. 17. Автограф первоначальной редакции (ст. 1—8) — собрание Е. Э. Мандельштама. В авт. сборники не включалось. Перевод стих. «Quatre-vingt-treize» (сб. «Ямбы», 1831).

284. «Красный журнал для всех», 1924, № 5, с. 1, без указания авторства Барбье. Беловой автограф (строфы 1—5) — собрание Е. Э. Мандельштама. В авт. сборники не включалось. Перевод вступительной части стих. «L'Idole» (сб. «Ямбы», 1831). *Вулкан* (римск. миф.) — бог огня, покровитель кузнечного дела.

285. «Западные сборники», 1924, № 2, с. 9. В авт. сборники не включалось. Перевод стих. «Les belles collines d'Irlande» (сб. «Лазарь», 1837). *Эрин* — Ирландия.

Франческо Петрарка

286. Сб. «Зарубежная поэзия в русских переводах (от Ломоносова до наших дней)», М., 1968 (неточный текст). Печ. по беловому автографу, с датой: декабрь 1933 — январь 1934 (собрание Е. Э. Мандельштама). Черновой автограф. Авториз. список. Вольный перевод. Эпиграфы к стих. 286—289 — первые строки из соответствующих сонетов Петрарки. По свидетельству Н. Я. Мандельштам, поэт «легко постигал тайны чужих языков, особенно романских, — он никогда не расставался с итальянцами».

287. Печ. впервые по беловому автографу, с датой: декабрь 1933 — январь 1934 (собрание Е. Э. Мандельштама). Черновой автограф с датой: 21 ноября 1933 г. Автограф промежуточной редакции с датой: декабрь 1933. Вольный перевод.

288. Сб. «Зарубежная поэзия в русских переводах (от Ломоносова до наших дней)», М., 1968 (неточный текст). Печ. по беловому автографу, с датой: 14—24 декабря 1933 (собрание Е. Э. Мандельштама). Автограф с поправками и авториз. список. Вольный перевод.

289. Сб. «Зарубежная поэзия в русских переводах (от Ломоносова до наших дней)», М., 1968 (неточный текст). Печ. по беловому автографу, с исправлениями и пометой: «8 января (19)34. Закончено после известия о смерти Б. Н. Бугаева» (Андрея Белого). Список первоначальной редакции с авторскими исправлениями (дата: 4 января 1934 г.). Вольный перевод. Первоначальная редакция строф 1 и 2:

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи.
К земле бескостной жметя. Средоточий
Не узнает рсдимых и сплетений.

Промежуточная редакция строф 1 и 2:

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег, поймав немного блага
На взмах ресницы. Смешанная влага
Струится в жилах: пепел наслаждений.

Слепорожденных ставит на колени
Злая краса. Кипит надежды брага.
А сердце где? Его любовь и тяга
Уже земля и лишена сплетений.

В 1934 г. в беседе с редактором настоящего издания Мандельштам сказал, что лучший перевод сонета Петрарки на русский язык принадлежит Державину — стих. «Задумчивость» (22-й сонет).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. О. Э. Мандельштам. Фотография 1923 г.
2. *С. 69*. Титульный лист сборника «Камень» (СПб., 1913).
3. *С. 101*. Черновой автограф стихотворения «Соломинка».
4. *С. 111*. Титульный лист сборника «Tristia» (Берлин, 1922).
5. *С. 177*. Беловой автограф первоначальной редакции стихотворения «Чернозем».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- Аббат («О спутник вечного романа. . .») 90
Автопортрет («В подняты головы крылатый. . .») 220
Адмиралтейство («В столице северной томится пыльный тополь. . .») 79
Айя-София («Айя-София, — здесь остановиться. . .») 74
Актер и рабочий («Здесь, на твердой площадке яхт-клуба. . .») 227
Американ бар («Еще девиц не видно в баре. . .») 216
Американка («Американка в двадцать лет. . .») 82
Ариост («В Европе холодно. В Италии темно. . .») 170
Армения (1—12) 145
«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло. . .» (Армения, 3) 146
Батюшков («Словно гуляка с волшебною тростью. . .») 166
Бах («Здесь прихожане — дети праха. . .») 78
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса. . .» 92
Бронза («Дай угля, кочегар, дай порошок сыпучий. . .») Из *О. Барбье* 244
«Бывает сердце так сурово. . .» (Ода Бетховену) 88
«Был старик, застенчивый, как мальчик. . .» (Ламарк) 163
«Быть может, я тебе не нужен. . .» (Раковина) 67
«В аллее колокольчик медный. . .» (Летние стансы) 215
«В Европе холодно. В Италии темно. . .» (Ариост) 170
«В лицо морозу я гляжу один. . .» 188
«В морозном воздухе растаял легкий дым. . .» 204
«В огромном омуте прозрачно и темно. . .» 63
«В Петербурге мы сойдемся снова. . .» 117
«В Петрополе прозрачно мы умрем. . .» 98
«В подняты головы крылатый. . .» (Автопортрет) 220
«В разноголосице девического хора. . .» 225
«В самом себе, как змей, таясь. . .» 210
«В спокойных пригородах снег. . .» 78
«В столице северной томится пыльный тополь. . .» (Адмиралтейство) 79
«В таверне воровская шайка. . .» 79
«В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. . .» 106

«В хрустальном омуте какая крутизна! . . .» 113
Век («Век мой, зверь мой, кто сумеет. . .») 131
«Венецкой жизни мрачной и бесплодной. . .» 114
«Вернись в смесительное лоно. . .» 113
«Веселая скороговорка. . .» 214
«Ветер нам утешенье принес. . .» 130
«Вехи дальние обоза. . .» 185
«Воздух пасмурный влажен и гулок. . .» 65
«Возможна ли женщине мертвой хвала? . . .» 175
«Возьми на радость из моих ладоней. . .» 120
«Вооруженный зреньем узких ос. . .» 194
«Вот дароносица, как солнце золотое. . .» 224
«Вполоборота, о печаль. . .» 84
Второй футбол («Рассеен утренник тяжелый. . .») 219
«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома. . .» 141

«Где лягушки фонтанов, расквакавшись. . .» (Рим) 196
«Где римский судия судил чужой народ. . .» (Notre Dame) 74
«Где связанный и пригвожденный стон? . . .» 189
«Глядим на лес и говорим. . .» (Нашедший подкову) 132
«Голубые глаза и горячая лобная кость. . .» 171
Грифельная ода («Звезда с звездой — могучий стык. . .») 135

«Да, я лежу в земле, губами шевеля. . .» 180
«Дай угля, кочегар, дай порошок сыпучий. . .» (Бронза) *Из О. Барбье*
244
«Дайте Тютчеву стрекóзу. . .» 165
«Дано мне тело — что мне делать с ним. . .» 59
Дворцовая площадь («Императорский виссон. . .») 225
«. . . Дев полуночных отвага. . .» 77
Декабрист («Тому свидетельство языческий сенат. . .») 102
Джин («Сумрачный гений, бог наших веселий. . .») 241
«Довольно кукситься, бумаги в стол засунем. . .» 160
Домби и сын («Когда, пронзительнее свиста. . .») 83
«Душный сумрак кроет ложе. . .» 207
«Душу от внешних условий. . .» 209

Европа («Как средиземный краб или звезда морская. . .») 87
Египтянин («Я выстроил себе благополучья дом. . .») 222
«Единственной отрадой. . .» 206
«Есть женщины, сырой земле родные. . .» 202
«Есть иволги в лесах, и гласных долготы. . .» 85
«Есть обитаемая духом. . .» (Epsuslica) 223
«Есть целомудренные чары. . .» 59
«Есть ценностей незыблемая скала. . .» 221
«Еще далёко асфodelей. . .» 104
«Еще далёко мне до патриарха. . .» 158
«Еще девиц не видно в баре. . .» (Американ бар) 216
«Еще мы жизнью полны в высшей мере. . .» 180
«Еще не умер ты, еще ты не один. . .» 187
«Еще он помнит башмаков износ. . .» 193

«Жизнь упала, как зарница...» 143
«Жил Александр Герцович...» 154

«За гремучую доблесть грядущих веков...» 153
«За Паганини длиннопалым...» 179
«За то, что я руки твои не сумел удержать...» 121
«Заблудился я в небе, — что делать?..» 198
«Заблудился я в небе, — что делать?..» 198
«Закутав рот, как влажную рззу...» (Армения, 4) 146
«Заснула чернь! Зняет площадь аркой...» 220
«Зашумела, задрожала...» (Стихи о русской поэзии, 2) 167
«Звезда с звездой — могучий стык...» (Грифельная ода) 135
Зверинец («Отверженное слово „мир“...») 96
«Звук осторожный и глухой...» 57
«Здесь, на твердой площадке яхт-клуба...» (Актер и рабочий) 227
«Здесь прихожане — дети праха...» (Бах) 78
«Здесь я стою — я не могу иначе...» 77
Змей («Осенний сумрак — ржавое железо...») 206
«Золотистого меда струя из бутылки текла...» 103
Золотой («Целый день сырой осенний воздух...») 72

«И поныне на Афоне...» 90
«И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...» 171
«Из омута злого и вязкого...» 63
«Из полутемной залы, вдруг...» 204
«Из-за домов, из-за лесов...» 182
«Императорский виссон...» (Дворцовая площадь) 225
Импрессионизм («Художник нам изобразил...») 164
Ирландские холмы («Тот день, что оторвал меня от берегов...») Из
О. Барбье 245
«Источается тонкий тлен...» 204

К немецкой речи («Себя губя, себе противореча...») 169
«К пустой земле невольню припадая...» 202
Казино («Я не поклонник радости предвзятой...») 72
«Как будто ураган верхи дерев нагнул...» (Мятеж) Из *О. Барбье*
243
«Как кони медленно ступают...» 64
«Как люб мне натугой живущий...» 149
«Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...» 178
«Как овцы жалкою толпой...» 221
«Как парламент, жующий фронду...» (Рояль) 154
«Как по улицам Кнева-Вия...» 200
«Как подарок запоздалый...» 186
«Как растёт хлебов опара...» 128
«Как светотени мученик Рембрандт...» 192
«Как соловей сиротствующий славит...» Из *Петрарки* 247
«Как средиземный краб или звезда морская...» (Европа) 87
«Как тельце маленькое крылышком...» 138
«Как тень внезапных облаков...» 63
«Как этнх покрывал и этого убора...» 95

- «Какая роскошь в нищенском селеньи...» (Армения, 10) 148
 «Какое лето! Молодых рабочих...» 161
 Кинематограф («Кинематограф. Три скамейки...») 80
 «Клейкой клятвой пахнут почки...» 200
 «Когда в ветвях понурых...» 187
 «Когда в теплой ночи замирает...» 108
 «Когда городская выходит на стогны луна...» 122
 «Когда корабль столетний государства...» (1793) Из *О. Барбье*
 243
 «Когда на площадях и в тишине келейной...» 106
 «Когда показывают восемь...» 213
 «Когда, пронзительнее свиста...» (Домби и сын) 83
 «Когда Психея-жизнь спускается к теям...» 116
 «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...» (Соломинка, 1)
 100
 «Когда тяжелый зной гранит больше плиты...» (Собачья склока)
 Из *О. Барбье* 236
 «Когда удар с ударами встречается...» 61
 «Когда уснет земля и жар отпышет...» Из *Петрарки* 247
 «Колют ресницы, в груди прикипела слеза...» 153
 «Колочая речь араратской долины...» 149
 «Кому зима — арак и пуниш голубоглазый...» 126
 Концерт на вокзале («Нельзя дышать, и твердь кишит червями...»)
 125
 «Кто время целовал в измученное темя...» (1 января 1924) 138
 «Куда как страшно нам с тобой...» 150
 «Куда мне деться в этом январе?...» 191
- «Лазурь да глина, глина да лазурь...» (Армения, 12) 149
 Ламарк («Был старик, застенчивый, как мальчик...») 163
 «Летают валькирии, поют смычки...» 84
 Летние стансы («В аллее колокольчик медный...») 215
 «Листьев сочувственный шорох...» 205
 «Люблю под сводами седья тишины...» 228
 «Люблю появление ткани...» 171
 Лютеранин («Я на прогулке похороны встретил...») 73
- Мадригал («Нет, не поднять волшебного фрегата...») 217
 «Мастерица виноватых взоров...» 173
 «Медлительнее снежный улей...» 61
 «Меня преследуют две-три случайных фразы...» 172
 «Мне жалко, что теперь зима...» 121
 «Мне Тифлис горбатый снится...» 119
 «Мне холодно. Прозрачная весна...» 98
 «Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...» 203
 «Мой щегол, я голову закину...» 183
 «„Мороженоно!“ Солнце. Воздушный бисквит...» 86
 Московский дождик («...Он подает куда как скупое...») 131
 «Мы напряженного молчанья не выносим...» 75
 «Мы с тобой на кухне посидим...» 151
 Мятёж («Как будто ураган верхи дерев нагнул...») Из *О. Барбье*
 243

- «На бледно-голубой эмали. . .» 58
 «На высоком перевале. . .» (Фэзтонщик) 161
 «На каменных отрогах Пиэрин. . .» 112
 «. . . На луне не растет. . .» 84
 «На меня нацелилась груша да черемуха. . .» 201
 «На мертвых ресницах Исакий замерз. . .» 175
 «На перламутровый челнок. . .» 68
 «На площадь выбежав, свободен. . .» 85
 «На розвальнях, уложенных соломой. . .» 97
 «На страшной высоте блуждающий огонь. . .» 108
 «На темном небе, как узор. . .» 205
 «Над желтизной правительственных зданий. . .» (Петербургские строфы) 76
 Наполеоновская Франция («О корсиканский зверь с прямыми волосами. . .») *Из О. Барбье* 239
 Начало «Федры» («Решенье принято, час перемены пробил. . .») *Из Расина* 235
 Нашедший подкову («Глядим на лес и говорим. . .») 132
 «Не веря воскресенья чуду. . .» 99
 «Не развалины, нет, но порубка могучего циркульного леса. . .» (Армения, 7) 147
 «Не спрашивай: ты знаешь. . .» 210
 «Не сравнивай: живущий несравним. . .» 188
 «Невыразимая печаль. . .» 60
 «Нежнее нежного. . .» 58
 «Нельзя дышать, и твердь кишит червями. . .» (Концерт на вокзале) 125
 «Нет, не луна, а светлый циферблат. . .» 71
 «— Нет, не мигрень, — но подай карандашчик ментоловый. . .» 155
 «Нет, не поднять волшебного фрегата. . .» (Мадригал) 217
 «Нет, никогда, ничей я не был современник. . .» 140
 «Неумолимые слова. . .» 208
 «Ни о чем не нужно говорить. . .» 60
 «Ни триумфа, ни войны! . . .» 223
 «. . . Но в старом Кельне тоже есть собор. . .» (Реймс и Кельн) 223
 Notre Dame («Где римский судия судил чужой народ. . .») 74
 «О временах простых и грубых. . .» 85
 «О, как же я хочу. . .» 199
 «О, как мы любим лицемерить. . .» 162
 «О корсиканский зверь с прямыми волосами. . .» (Наполеоновская Франция) *Из О. Барбье* 239
 «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала. . .» 203
 «О небо, небо, ты мне будешь снится! . . .» 68
 «О порфирные цокая граниты. . .» (Армения, 9) 148
 «О свободе небывалой. . .» 92
 «О спутник вечного романа. . .» (Аббат) 90
 «О, этот воздух, смутой пьяный. . .» 226
 «Обиженно уходят на холмы. . .» 224
 «Образ твой, мучительный и зыбкий. . .» 70
 Ода Бетховену («Бывает сердце так сурово. . .») 88

- «Окружена высокими холмами. . .» (Феодосия) 115
 «. . Он подает куда как скупо. . .» (Московский дождик) 131
 «Она еще не родилась. . .» (Silentium) 62
 «Опять войны разноголосица. . .» 229
 «Орущих камней государство. . .» (Армения, 6) 147
 «Осенний сумрак — ржавое железо. . .» (Змей) 206
 «От вторника и до субботы. . .» 91
 «От легкой жизни мы сошли с ума. . .» 217
 «От сырой простыни говорящая. . .» 182
 «Отверженное слово „мир“. . .» (Зверинец) 96
 «Отравлен хлеб, и воздух выпит. . .» 82
 «Отчего душа так певуча. . .» 66
- «Паденье — неизменный спутник страха. . .» 212
 1 января 1924 («Кто время целовал в измученное темя. . .») 138
 «Переуважена, перечерна, вся в холе. . .» (Чернозем) 176
 Песенка («У меня не много денег. . .») 215
 Петербургские строфы («Над желтизной правительственных зда-
 ний. . .») 76
 Пешеход («Я чувствую непобедимый страх. . .») 71
 «Пластинкой тоненькой „жилета“. . .» 183
 «Поговорим о Риме — дивный град. . .» 221
 «Под грозowymi облаками. . .» 208
 «Поедем в Царское Село! . .» (Царское Село) 212
 «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лого. . .» 156
 «Полюбил я лес прекрасный. . .» (Стихи о русской поэзии, 3) 168
 Посох («Посох мой — моя свобода. . .») 87
 «Пою, когда гортань — сыра, душа — суха. . .» 193
 «Природа — тот же Рим и отразилась в нем. . .» 105
 «Пришли четыре брата, несхожие лицом. . .» (Сыновья Аймона) *Из
 старофранцузского эпоса* 233
 «Промчались дни мои, как бы олений. . .» *Из Петрарки* 248
 «Прославим, братья, сумерки свободы. . .» 109
 «Пусть в душевной комнате, где клочья серой ваты. . .» 218
 «Пусть имена цветущих городов. . .» 105
- «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева. . .» 192
 Раковина («Быть может, я тебе не нужен. . .») 67
 «Рассеен утренник тяжелый. . .» (Второй футбол) 219
 Реймс и Кельн («. . Но в старом Кельне тоже есть собор. . .») 223
 «Речка, распухшая от слез соленых. . .» *Из Петрарки* 246
 «Решенье принято, час перемены пробил. . .» (Начало «Федры») *Из
 Расина* 235
 Рим («Где лягушки фонтанов, расквакавшись. . .») 196
 Рояль («Как парламент, жующий фронду. . .») 154
 «Руку платком обмотай и в венценосный шиповник. . .» (Армения, 5)
 147
 «Румяный шкипер бросил мяч тяжелый. . .» (Спорт) 218
- «С веселым ржанием пасутся табуны. . .» 93
 «С миром державным я был лишь ребячески связан. . .» 151

- «С розовой пеной усталости у мягких губ...» 127
«Себя губя, себе противореча...» (К немецкой речи) 169
«Сегодня дурной день...» 65
«Сегодня ночью, не солгу...» 142
«Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» 113
Silentium («Она еще не родилась...») 62
«Скудный луч, холодной мерою...» 64
«Словно гуляка с волшебною тростью...» (Батюшков) 166
«Слух чуткий парус напрягает...» 62
«Слышу, слышу ранний лед...» 190
«Смутно-дышащими листьями...» 66
Собачья склока («Когда тяжелый зной гранил большие плиты...») *Из О. Барбье* 236
«Собирались эллины войною...» 102
Соломинка (1—2) 100
«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» 156
Спорт («Румяный шкипер бросил мяч тяжелый...») 218
«Средь аляповатых дач...» (Теннис) 81
«Средь народного шума и спеха...» 190
Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных...») 180
Старик («Уже светло, поет сирена...») 75
Стихи о русской поэзии (1—3) 166
«Стрекозы быстрыми кругами...» 211
«Сумрачный гений, бог наших веселий...» (Джин) *Из О. Барбье* 241
«Сусальным золотом горят...» 57
Сыновья Аймона («Пришли четыре брата, несхожие лицом...») *Из старофранцузского эпоса* 233
«Сядь, Державин, развалился...» (Стихи о русской поэзии, 1) 166
- «Там, где купальни, бумагопрядильни...» 165
«Твое чудесное произношение...» 107
«Твоим узким плечам под бичами краснеть...» 174
«Твой зрачок в небесной корке...» 186
«Телохранилитель был отравлен...» (Футбол) 219
«Темных уз земного заточенья...» 207
Теннис («Средь аляповатых дач...») 81
«Только детские книги читать...» 57
«Тому свидетельство языческий сенат...» (Декабрист) 102
«Тот день, что оторвал меня от берегов...» (Ирландские холмы) *Из О. Барбье* 245
Tristia («Я изучил науку расставанья...») 110
«Ты красок себе пожелала...» (Армения, 2) 145
«Ты розу Гафиза колышешь...» (Армения, 1) 145
1793 («Когда корабль столетний государства...») *Из О. Барбье* 243
«Тысячеструйный поток...» 214
- «У меня не много денег...» (Песенка) 215
«Увы, растаяла свеча...» 164

- «Уже светло, поет спрена. . .» (Старик) 75
«Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста. . .» 187
«Умывался ночью на дворе. . .» 126
«Уничтожает пламень. . .» 89
- Фазтонщик («На высоком перевале. . .») 161
Феодосия («Окружена высокими холмами. . .») 115
Футбол («Телохранилитель был отравлен. . .») 219
- «Холодно розе в снегу. . .» (Армения, 8) 148
«Холодок щекочет темя. . .» 127
«Художник нам изобразил. . .» (Импрессионизм) 164
- Царское Село («Поедем в Царское Село! . .») 212
«Целый день сырой осенний воздух. . .» (Золотой) 72
- Чернозем («Переуважена, перечерна, вся в холе. . .») 176
«Что поют часы-кузничек. . .» 107
«Чуть мерцает призрачная сцена. . .» 118
- Шарманка («Шарманка, жалобное пенье. . .») 211
- Епсуслиса («Есть обитаемая духом. . .») 223
- «Эта область в темноводье. . .» 184
Это зыбь («Это зыбь, это зыбь — спокойная моряна. . .») Из *О. Барбье* 241
- «Я буду метаться по табору улицы темной. . .» 143
«Я в львиный ров и в крепость погружен. . .» 194
«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг. . .» 124
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез. . .» 150
«Я вздрагиваю от холода. . .» 68
«Я видел озеро, стоявшее отвесно. . .» 196
«Я выстроил себе благополучья дом. . .» (Египтянин) 222
«Я должен жить, хотя я дважды умер. . .» 176
«Я живу на важных огородах. . .» 176
«Я знаю, что обман в видении немислим. . .» 209
«Я изучил науку расставанья. . .» (Tristia) 110
«Я к губам подношу эту зелень. . .» 199
«Я молю, как жалости и милости. . .» 195
«Я на прогулке похороны встретил. . .» (Лютеранин) 73
«Я наравне с другими. . .» 123
«Я научился вам, блаженные слова. . .» (Соломинка, 2) 100
«Я не знаю, с каких пор. . .» 129
«Я не поклонник радости предвзятой. . .» (Казинно) 72
«Я не слышал рассказов Оссиана. . .» 86
«Я не увижу знаменитой „Федры“. . .» 93
«Я не хочу среди юношей тепличных. . .» (Стансы) 180
«Я ненавижу свет. . .» 70

- «Я нынче в паутине световой. . .» 189
«Я по лесенке приставной. . .» 129
«Я потеряла нежную камею. . .» 227
«Я скажу тебе с последней прямою. . .» 152
«Я скажу это начерно, шепотом. . .» 196
«Я слово позабыл, что я хотел сказать. . .» 117
«Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток. . .» 178
«Я тебя никогда не увижу. . .» (Армения, 11) 149
«Я чувствую непобедимый страх. . .» (Пешеход) 71
«Язык булыжника мне голубя понятней. . .» 137

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия Осипа Мандельштама. Вступительная статья А. Л. Ды- щица	5
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

КАМЕНЬ

(1908—1915)

1. «Звук осторожный и глухой...»	57
2. «Сусальным золотом горят...»	57
3. «Только детские книги читать...»	57
4. «Нежнее нежного...»	58
5. «На бледно-голубой эмали...»	58
6. «Есть целомудренные чары...»	59
7. «Дано мне тело — что мне делать с ним...»	59
8. «Невыразимая печаль...»	60
9. «Ни о чем не нужно говорить...»	60
10. «Когда удар с ударами встречается...»	61
11. «Медлительнее снежный улей...»	61
12. Silentium	62
13. «Слух чуткий парус напрягает...»	62
14. «Как тень внезапных облаков...»	63
15. «Из омута злого и вязкого...»	63
16. «В огромном омуте прозрачно и темно...»	63
17. «Как кони медленно ступают...»	64

Звездочкой обозначены стихотворения, публикуемые в настоящем издании впервые.

18. «Скудный луч, холодной мерою...»	64
19. «Воздух пасмурный влажен и гулок...»	65
20. «Сегодня дурной день...»	65
21. «Смутно-дышащими листьями...»	66
22. «Отчего душа так певуча...»	66
23. Раковина	67
24. «На перламутровый челнок...»	68
25. «О небо, небо, ты мне будешь сниться!..»	68
26. «Я вздрагиваю от холода...»	68
27. «Я ненавижу свет...»	70
28. «Образ твой, мучительный и зыбкий...»	70
29. «Нет, не луна, а светлый циферблат...»	71
30. Пешеход	71
31. Казино	72
32. Золотой	72
33. Лютеранин	73
34. Айя-София	74
35. Notre Dame	74
36. «Мы напряженного молчанья не выносим...»	75
37. Старик	75
38. Петербургские строфы	76
39. «„Здесь я стою — я не могу иначе“...»	77
40. «...Дев полуночных отвага...»	77
41. Бах	78
42. «В спокойных пригородах снег...»	78
43. Адмиралтейство	79
44. «В таверне воровская шайка...»	79
45. Кинематограф	80
46. Теннис	81
47. Американка	82
48. «Отравлен хлеб, и воздух выпит...»	82
49. Домби и сын	83
50. «Летают валькирии, поют смычки...»	84
51. «...На луне не растет...»	84
52. «Вполоборота, о печаль...»	84
53. «О временах простых и грубых...»	85
54. «На площадь выбежав, свободен...»	85
55. «Есть иволги в лесах, и гласных долгота...»	85
56. «„Морожено!“ Солнце. Воздушный бисквит...»	86
57. «Я не слышал рассказов Оссиана...»	86
58. Европа	87
59. Посох	87
60. Ода Бетховену	88
61. «Уничтожает пламень...»	89
62. «И поныне на Афоне...»	90
63. Аббат	90
64. «От вторника и до субботы...»	91
65. «О свободе небывалой...»	92
66. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»	92
67. «С веселым ржанием пасутся табуны...»	93
68. «Я не увижу знаменитой „Федры“...»	93

TRISTIA
(1916—1920)

69. «Как этих покрывал и этого убора...»	95
70. Зверинец	96
71. «На розвальнях, уложенных соломой...»	97
72. «Мне холодно. Прозрачная весна...»	98
73. «В Петрополе прозрачном мы умрем...»	98
74. «Не веря воскресенья чуду...»	99
75—76. Соломинка	
1. «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...»	100
2. «Я научился вам, блаженные слова...»	100
77. «Собирались элины войною...»	102
78. Декабрист	102
79. «Золотистого меда струя из бутылки текла...»	103
80. «Еще далёко асфodelей...»	104
81. «Пусть имена цветущих городов...»	105
82. «Природа — тот же Рим и отразилась в нем...»	105
83. «Когда на площадях и в тишине келейной...»	106
84. «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...»	106
85. «Твое чудесное произношеньё...»	107
86. «Что поют часы-кузнечик...»	107
87. «На страшной высоте блуждающий огонь...»	108
88. «Когда в теплой ночи замирает...»	108
89. «Прославим, братья, сумерки свободы...»	109
90. Tristia	110
91. «На каменных отрогах Пиэрии...»	112
92. «В хрустальном омуте какая крутизна!...»	113
93. «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши при- меты...»	113
94. «Вернись в смесительное лоно...»	113
95. «Венецкой жизни мрачной и бесплодной...»	114
96. Феодосия	115
97. «Когда Психея-жизнь спускается к теням...»	116
98. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...»	117
99. «В Петербурге мы сойдемся снова...»	117
100. «Чуть мерцает призрачная сцена...»	118
101. «Мне Тифлис горбатый снится...»	119
102. «Возьми на радость из моих ладоней...»	120
103. «За то, что я руки твои не сумел удержать...»	121
104. «Мне жалко, что теперь зима...»	121
105. «Когда городская выходит на стогны луна...»	122
106. «Я наравне с другими...»	123
107. «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»	124

СТИХИ 1921—1925 ГОДОВ

108. Концерт на вокзале	125
109. «Умывался ночью на дворе...»	126
110. «Кому зима — арак и пунш голубоглазый...»	126
111. «С розовой пеной усталости у мягких губ...»	127

112.	«Холодок щекочет темя...»	127
113.	«Как растет хлебов опара...»	128
114.	«Я не знаю, с каких пор...»	129
115.	«Я по лесенке приставной...»	129
116.	«Ветер нам утешенье принес...»	130
117.	Московский дождик	131
118.	Век	131
119.	Нашедший подкову	132
120.	Грифельная ода	135
121.	«Язык булыжника мне голубя понятней...»	137
122.	«Как тельце маленькое крылышком...»	138
123.	1 января 1924	138
124.	«Нет, никогда, ничей я не был современник...»	140
125.	«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...»	141
126.	«Сегодня ночью, не солгу...»	142
127.	«Я буду метаться по табору улицы темной...»	143
128.	«Жизнь упала, как зарница...»	143

СТИХИ 1930—1937 ГОДОВ

129—140. Армения		
1.	«Ты розу Гафиза колышешь...»	145
2.	«Ты красок себе пожелала...»	145
3.	«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...»	146
4.	«Закутав рот, как влажную розу...»	146
5.	«Руку платком обмотай и в венценосный шиповник...»	147
6.	«Орущих камней государство...»	147
7.	«Не развалины, нет, но порубка могучего циркульного леса...»	147
8.	«Холодно розе в снегу...»	148
9.	«О порфирные цокая граниты...»	148
10.	«Какая роскошь в нищенском селеньи...»	148
11.	«Я тебя никогда не увижу...»	149
12.	«Лазурь да глина, глина да лазурь...»	149
* 141.	«Как люб мне патугой живущий...»	149
* 142.	«Ключая речь араратской долины...»	149
* 143.	«Куда как страшно нам с тобой...»	150
144.	«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»	150
145.	«Мы с тобой на кухне посидим...»	151
146.	«С миром державным я был лишь ребячески связан...»	151
147.	«Я скажу тебе с последней прямотой...»	152
148.	«Колют ресницы, в груди прикипела слеза...»	153
149.	«За гремучую доблесть грядущих веков...»	153
150.	«Жил Александр Герцович...»	154
151.	Рояль	154
* 152.	«— Нет, не мигрень, — но подай карандашик ментоловый...»	155
153.	«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»	156
154.	«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»	156

155.	«Еще далёко мне до патриарха...»	158
156.	«Довольно кукситься, бумаги в стол засунем...»	160
* 157.	«Какое лето! Молодых рабочих...»	161
* 158.	Фазтонщик	161
159.	«О, как мы любим лицемерить...»	162
160.	Ламарк	163
161.	«Увы, растаяла свеча...»	164
162.	Импрессионизм	164
163.	«Там, где купальни, бумагопрядильни...»	165
* 164.	«Дайте Тютчеву стрекозу...»	165
165.	Батюшков	166
166—168.	Стихи о русской поэзии	
1.	«Сядь, Державин, развалился...»	166
2.	«Зашумела, задрожала...»	167
3.	«Полюбил я лес прекрасный...»	168
169.	К немецкой речи	169
* 170.	Ариост	170
171.	«Люблю появление ткани...»	171
172.	«И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...»	171
173.	«Голубые глаза и горячая лобная кость...»	171
174.	«Меня преследуют две-три случайных фразы...»	172
175.	«Мастерица виноватых взоров...»	173
176.	«Твоим узким плечам под бичами краспеть...»	174
177.	«На мертвых ресницах Исакий замерз...»	175
178.	«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»	175
179.	Чернозем	176
180.	«Я должен жить, хотя я дважды умер...»	176
* 181.	«Я живу на важных огородах...»	176
182—183		
1.	«Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...»	178
2.	«Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток...»	178
184.	«За Паганини длиннопалым...»	179
* 185.	«Еще мы жизнью полны в высшей мере...»	180
186.	«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»	180
187.	Стансы	180
188.	«От сырой простыни говорящая...»	182
189.	«Из-за домов, из-за лесов...»	182
190.	«Мой щегол, я голову закину...»	183
191.	«Пластинкой тоненькой „жилета“...»	183
192.	«Эта область в темноводье...»	184
193.	«Вехи дальние обоза...»	185
194.	«Как подарок запоздалый...»	186
195.	«Твой зрачок в небесной корке...»	186
* 196.	«Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...»	187
* 197.	«Когда в ветвях понурых...»	187
198.	«Еще не умер ты, еще ты не один...»	187
* 199.	«В лицо морозу я гляжу один...»	188
* 200.	«Не сравнивай: живущий несравним...»	188
201.	«Я нынче в паутине световой...»	189
* 202.	«Где связанный и пригвожденный стои?..»	189
* 203.	«Слышу, слышу ранний лед...»	190
204.	«Средь народного шума и спеха...»	190

205.	«Куда мне деться в этом январе?..»	191
206.	«Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...»	192
207.	«Как светотени мученик Рембрандт...»	192
208.	«Еще он помнит башмаков износ...»	193
209.	«Пою, когда гортань — сыра, душа — суха...»	193
210.	«Вооруженный зреньем узких ос...»	194
* 211.	«Я в львиный ров и в крепость погружен...»	194
212.	«Я молю, как жалости и милости...»	195
* 213.	«Я видел озеро, стоявшее отвесно...»	196
* 214.	«Я скажу это начерно, шепотом...»	196
215.	Рим	196
216.	«Заблудился я в небе, — что делать?..»	198
* 217.	«Заблудился я в небе, — что делать?..»	198
218.	«О, как же я хочу...»	199
219.	«Я к губам подношу эту зелень...»	199
220.	«Как по улицам Киева-Вия...»	200
221.	«Клейкой клятвой пахнут почки...»	200
222.	«На меня нацелилась груша да черемуха...»	201
223—224		
	1. «К пустой земле невольно припадая...»	202
	2. «Есть женщины, сырой земле родные...»	202

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

* 225.	«О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...»	203
* 226.	«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...»	203
227.	«Из полутемной залы, вдруг...»	204
228.	«В морозном воздухе растаял легкий дым...»	204
229.	«Истончается тонкий тлен...»	204
* 230.	«На темном небе, как узор...»	205
* 231.	«Листьев сочувственный шорох...»	205
* 232.	«Единственной отрадой...»	206
233.	Змей	206
234.	«Душный сумрак кроет ложе...»	207
235.	«Темных уз земного заточенья...»	207
236.	«Неумолимые слова...»	208
* 237.	«Под грозowymi облаками...»	208
* 238.	«Душу от внешних условий...»	209
* 239.	«Я знаю, что обман в видении немыслим...»	209
* 240.	«Не спрашивай: ты знаешь...»	210
241.	«В самом себе, как змей, таясь...»	210
* 242.	«Стрекозы быстрыми кругами...»	211
243.	Шарманка	211
244.	«Паденье — неизменный спутник страха...»	212
245.	Царское Село	212
246.	«Когда показывают восемь...»	213
247.	«Тысячеструйный поток...»	214
248.	«Веселая скороговорка...»	214
249.	Песенка	215
250.	Летние стансы	215
251.	Американ бар	216

252.	«От легкой жизни мы сошли с ума...»	217
253.	Мадригал	217
254.	«Пусть в душевной комнате, где клочья серой ваты...»	218
255.	Спорт	218
256.	Футбол	219
* 257.	Второй футбол	219
* 258.	«Заснула чернь! Зияет площадь аркой...»	220
* 259.	Автопортрет	220
* 260.	«Как овцы, жалкою толпой...»	221
261.	«Поговорим о Риме — дивный град...»	221
262.	«Есть ценностей незыблемая скала...»	221
263.	Египтянин	222
264.	«Ни триумфа, ни войны!..»	223
265.	Реймс и Кельн	223
266.	Епископа	223
267.	«Вот дароносица, как солнце золотое...»	224
268.	«Обиженно уходят на холмы...»	224
269.	Дворцовая площадь	225
270.	«В разноголосице девического хора...»	225
271.	«О, этот воздух, смутой пьяный...»	226
272.	«Я потеряла нежную камею...»	227
273.	Актер и рабочий	227
274.	«Люблю под сводами седья тишины...»	228
275.	«Опять войны разноголосица...»	229

ИЗ СТИХОТВОРНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Старофранцузский эпос

276.	Сыновья Аймона	233
------	----------------	-----

Жан Расин

277.	Начало «Федры»	235
------	----------------	-----

Огюст Барбье

278.	Собачья склока	236
279.	Наполеоновская Франция	239
280.	Это зыбь	241
281.	Джин	241
282.	Мятеж	243
283.	1793	243
284.	Бронза	244
285.	Ирландские холмы	245

Франческо Петрарка

286. «Речка, распухшая от слез соленых...»	246
287. «Как соловей сиротствующий славит...»	247
288. «Когда уснет земля и жар отпышет...»	247
289. «Промчались дни мои, как бы оленей...»	248
Примечания	249
К иллюстрациям	317
Алфавитный указатель стихотворений	318

Мандельштам Осип Эмилевич
СТИХОТВОРЕНИЯ

Л. О. изд. в «Советский писатель», 1978,
336 стр. План выпуска 1973 г. № 333.

Редактор *Л. С. Гейро*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аоруника*

Отпечатано с матриц. Подписано к печати
03.07.78. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типогр.
№ 1. Литературная гарнитура. Высокая
печать. Усл. печ. л. 17,74. Уч.-изд. л. 15,94.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 772.
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Советский писатель»,
Ленинградское отделение, Ленинград,
Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 5 Союзполи-
графпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли,
190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка.	Напечатано	Следует читать
61	17	Отправленные	Отравленные